

Энтони  
Бёрджесс

Мистер Эндерби  
Взгляд изнутри



## Annotation

Первый роман сатирической тетралогии Энтони Бёрджесса о жизни и приключениях поэта-затворника Эндерби, начатой еще в 1963 году и завершённой в 1984-м.

Мистер Эндерби вполне доволен своей жизнью: он пишет стихи в импровизированном кабинете-ванной и ведет нескончаемые споры с домохозяйкой и соседями.

Но все меняется, когда он встречается Весту Бейнбридж, редактора дамского журнала, на вручении ежегодной поэтической премии и оказывается внезапно для себя втянут в романтические отношения...

Однако муза – ревнивая возлюбленная, и она жестоко покарает изменника...

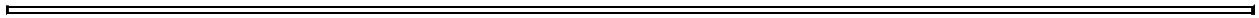
---

- [Энтони Бёрджесс](#)
  - 
  - [Часть первая](#)
    - [Глава первая](#)
      - [1](#)
      - [2](#)
      - [3](#)
      - [4](#)
      - [5](#)
    - [Глава вторая](#)
      - [1](#)
      - [2](#)
      - [3](#)
      - [4](#)
      - [5](#)
    - [Глава третья](#)
      - [1](#)
      - [2](#)
      - [3](#)
      - [4](#)
      - [5](#)
    - [Глава четвертая](#)
      - [1](#)

- [2](#)
    - [3](#)
    - [4](#)
    - [5](#)
  - [Глава пятая](#)
    - [1](#)
    - [2](#)
- [Часть вторая](#)
  - [Глава первая](#)
    - [1](#)
    - [2](#)
    - [3](#)
    - [4](#)
  - [Глава вторая](#)
    - [1](#)
    - [2](#)
    - [3](#)
    - [4](#)
    - [5](#)
  - [Глава третья](#)
    - [1](#)
    - [2](#)
    - [3](#)
    - [4](#)
- [Часть третья](#)
  - [Глава первая](#)
    - [1](#)
    - [2](#)
    - [3](#)
  - [Глава вторая](#)
    - [1](#)
    - [2](#)
    - [3](#)
- [notes](#)
  - [1](#)
  - [2](#)
  - [3](#)
  - [4](#)
  - [5](#)

- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)

- [45](#)
- [46](#)
- [47](#)
- [48](#)
- [49](#)
- [50](#)
- [51](#)
- [52](#)
- [53](#)
- [54](#)
- [55](#)
- [56](#)
- [57](#)
- [58](#)
- [59](#)
- [60](#)
- [61](#)
- [62](#)



# Энтони Бёрджесс

## Мистер Эндерби. Взгляд изнутри

*Посвящается Д'Арси Конейрс*

*Вперед, последний из поэтов, –  
Ты, сидя взаперти, хандришь, хвораешь.  
На улице тепло, полно людей.  
Бери монетку и давай скорей  
Иди за чемерицей, вот и погуляешь.*

*Жюль Лафорг. Воскресенья<sup>[\[1\]](#)</sup>*

Anthony Burgess  
INSIDE MR ENDERBY

Печатается с разрешения International Anthony Burgess Foundation при содействии литературных агентств David Higham Associates Limited и The Van Lear Agency LLC.

© International Anthony Burgess Foundation, 1963

© Перевод. А. Комаринец, 2015

© Издание на русском языке AST Publishers, 2016

# Часть первая

## Глава первая

### 1

– ХРРР-УМПФ.

И вам тоже счастливенького Нового года, мистер Эндерби!

Но пожелание не впрок обеим сторонам, поскольку для нас, ночных визитеров, год очень даже старый. Мы, шепчущие, трогающие, шуршащие и скрипящие половицами по вашей спальне, те грядущие поколения, к которым вы с такой надеждой обращались. Поздравляем, мистер Эндерби: вы уже попали в яблочко на мишени небес. Но ежели теперь вы проснетесь от колики в двенадцатиперстной кишке или желудке, которые для нас такая же жутковатая приправа к литературе, как золотуха Бена Джонсона, копрофагия Свифта или убийственные скачки давления у Китса, не воображайте, будто у вашей кровати посвистывают или стрекочут призраки. Чтобы быть призраком, надо сначала умереть или хотя бы родиться.

– Бэррфр-хрп.

Меткий ответ из заднего прохода мистера Эндерби. Не трогай, Присцилла. Мистер Эндерби не вещь, чтобы в него тыкали, а великий поэт, и он спит. И вынь свой грязный пальчик у него изо рта, Альберта. Его рот открыт не ради дилетантского стоматологического осмотра, а для того чтобы дышать. Носовые отверстия (к сорока пяти годам лучшие времена носа как органа позади), эти огромные подрагивающие пещеры со своими миниатюрными подмышками и пазухами, закупорены. Не забывайте, мир запахов принадлежит его ранним стихотворениям (страницы с 1-й по 17-ю в подборке издательства Гарвардского университета, которая у вас в списке обязательного чтения). Там нам встречаются запахи вымытых волос, пикулей, дрока, соли для ванн, кожи, стружки от заточенного карандаша, консервированных груш, почтовых контор, миссис Лейзенби в магазинчике трущобного квартала, где прошло его детство, гвоздики, диабета. Но в его зрелых произведениях запахов не существует – порты-близнецы закрылись навеки. Этот нежный звук, Гарольд, называется храп. Совершенно верно, Кристина, его зубы – и нижняя и верхняя челюсти – съемные, они помещены вон в ту пластиковую емкость. Деточка, деточка, ты пролил жидкость для протезов на ковер домохозяйки мистера Эндерби. Нет, Робин, ковер не красивый и не редкий, но это собственность миссис Мельдрам. Да,



сам мистер Эндерби наше достояние, всемирное наследие, но ковер принадлежит его домохозяйке.

Итак. Его волосы совершают каждодневное путешествие с головы на расческу, взвод за крошечным взводом с билетом в один конец. Вот тут, на туалетном столике, расчески и щетки с ручками под серебро, завещанные ему отцом, владельцем табачной лавки. Щетина действительно грязная, Мэвис, но великим поэтам есть чем заняться помимо гигиены. Взгляните, как щетинки выхватили свою ежедневную порцию и без того уже не густых волос мистера Эндерби. Это священные реликвии, дети. Не бросайтесь все разом. По одному на каждого. Вот так. Сохраните их бережно в своих дневничках на счастье в грядущем году. Выпавшие волосы становятся собственностью нашедшего их, Генри. Мистеру Эндерби они ни к чему, но на аукционах классики за них уже дают около фунта, если симпатично оформить. Нехорошо, Одри, вырывать живой волос. Такой резкий рывок может разбудить мистера Эндерби.

– Арр-х-пч.

Что я говорил?! Вы его потревожили. Давайте подождем, пока он не уляжется, как дают успокоиться взбаламученной воде. Вот так. А какой вид открывается – согласны, детки? – когда мистер Эндерби переворачивается на крестец, а простыни соскальзывают и сваливаются на пол. Его живот вздымается двумя пологими холмами по обе стороны от врезающейся в плоть резинки пижамных штанов. Видите, какое изобилие волос? Отвратительная ирония среднего возраста в том, что волосы маршируют вниз с благородной вершины, орлиного гнезда, покидают его, словно этот самый орел, а лагеря, бараки и гарнизоны теплого вульгарного тела по-прежнему изобилуют растительностью, бесполезной и некрасивой. И дряблая грудь, видите? То же изобилие кудельков. Да еще и подбородок, и щеки в щетине. Ощерились, как сказал бы Мильтон.

Да, Дженис, вынужден признать, что даже в полной темноте спящий мистер Эндерби – не самое приятное зрелище. Да, мы все заметили редящие волосы, беззубый рот, множество складок вздымающейся и опадающей плоти. Но какое отношение пригожесть имеет к величию, а? Вот и поразмыслите над этим. Тебе бы не хотелось быть за ним замужем, Альберта? А ведь вполне возможно, что верно и обратное, тем более что ты глупая, хихикающая пустышка. Кто ты такая, чтобы думать, будто тебе вообще посчастливится встретить и стать спутницей великого поэта?

Ноги, что ступали по Парнасу! Видите какие натоптыши на запутанной карте подошвы? Обломанные ногти, хотя вон на том большом пальце ноготь так загрубел, чтобы его не сломать. Согласен, не помешало

бы хорошенько отмочить их в пене. Простертая, как у нищего, правая рука на деле рука короля. Благоговейно взирайте на пальцы, сейчас отдыхающие от пера. Завтра они снова возьмутся за дело, завершая стихотворение, которое он считает своим будущим шедевром. О, что создали эти пальцы! Каждый, поцелуйте руку, но осторожно, касайтесь не сильнее ползущей мухи. Понимаю, понимаю: акт целования потребует усилия воли, чтобы преодолеть естественное омерзение. Однако сим вам будет преподан небольшой урок схоластической философии. Заскорузлые костяшки, ногти с черными ободками, въевшиеся табачные пятна (сигарету держали между пальцами, иногда о ней забывали, пока ум поэта взмывал над запахом горелой бумаги), грубая кожа – все это преходящее, внешние аспекты руки, уступка вульгарному миру потребления пищи и умирания. Но в чем истинное назначение руки? Эта рука – божественный инструмент, принесший в наши жизни чуточку благодати. Давайте, целуйте ее, целуйте. Алтея, перестань издавать такие звуки, будто тебя тошнит. А у тебя, Чарлз, лицо и так безобразное, незачем еще и рожи корчить. Вот и ладненько, целуй.

Его это практически не потревожило. Он легонько почесался. Поскреб то место, куда опустил любопытный мотылек. Тсс! Он собирается что-то сказать во сне. Ваши поцелуи разбудили спящее вдохновение. Слушайте.

Подруга моя прекрасна собой и стройна,  
Трудится тяжело на ниве сладкого сна<sup>[2]</sup>.

И это все? Это все. Какое чудо, дети! Вы слышали его голос! Пусть невнятный и сонный, но тем не менее его голос! А теперь перейдем к прикроватной тумбочке мистера Эндерби.

Книги, детки, постельное чтение мистера Эндерби. «Блондинки как пули» – что бы это ни значило. «Кто есть кто в античности» – несомненно, очень полезно. «Сделка Рэффити» в дурацкой обложке. «Как я преуспел» – из-под пера магната, умершего от атеросклероза. «Маленькие истории мучеников во имя Девы Марии» – сенсация. А вот, милые мои, и томик самого мистера Эндерби – «Рыба и герои», сборник его ранних стихотворений. Каким гением он был тогда! Да, Деннис, можно взять в руки, но обращайтесь осторожно. Ах ты несносный мальчишка, опрокинул всю стопку на пол! Что это? Что было спрятано между обтрепанными страницами? Фотографии? Не трогайте! Оставьте, они не для вас! Милосердные небеса, слабости великих... Какой позор мы

непреднамеренно вскрыли. Бренда, Морин, нечего хихикать, сейчас же отдайте мне фотографию. Своими дурацкими смешками вы разбудите мистера Эндерби. Что они делают, Чарлз? Кто, мужчина и женщина на картинке? Заняты собственным делом, вот что они делают.

– У-фффф-р-хуф.

Усни, покойся, потревоженный дух! Робин, отдай, пожалуйста, фото. Да, да, уголок торчит из кармана твоего блейзера. Спасибо. Если вам так нужно знать, техническим термином будет фелляция. И хватит об этом. Пройдем на цыпочках в уборную мистера Эндерби. Вот мы и на месте. Именно здесь мистер Эндерби пишет большинство своих произведений. Удивительно, правда? Он знает, что здесь его ждет истинное уединение. Ванна полна рукописей, словарей и подтекающих авторучек. Перед унитазом низенький столик. Вон там электрообогреватель, согревающий босые ноги поэта. Почему он избрал столь скромное помещение? Оно удивительно уместно для поэзии, ибо, как он сказал в одном интервью, поэт – очиститель и опорожнитель времени. Но с уверенностью можно утверждать, что тут кроется много большее. Какая-то детская травма, пока еще нами не обнаруженная. Зато в отделе образовательных экскурсий во времени уже поговаривают о том, чтобы продвинуться дальше в прошлое. Кто знает? Возможно, еще до окончания школы вы навестите Шекспира, корпящего в приходе Святого Олафа над морем стихов. Найджел, оставь в покое ржавые бритвы, глупый ты мальчишка! А теперь потихоньку, потихоньку... До комнаты, где он ест и где, когда не пишет, живет, один лишь шаг. Нет, Стефани, мистер Эндерби живет один по собственной воле. Любовь, любовь, любовь... Только об этом вы, девочки, и думаете. До сих пор любовная жизнь мистера Эндерби не изучена и покрыта мраком. Его отношение к женщинам? У вас есть его стихи, хотя, надо признать, секс в них почти не упоминается.

– Порририпо-хрумпф.

Рожки Эльфийской страны! Мы оставляем его похрапывать в поэтической дреме. Но еще кое-что. В стихотворениях того года – которых он, разумеется, еще не написал – налицо проблески чего-то большего, чем фотографический интерес к женщине. Но у нас нет биографических свидетельств того, что имел место роман, перемена в жизни. У нас вообще мало биографических свидетельств. По сути, он, так сказать, жил больше внутри, чем вовне. И этот адрес на приморском курорте единственный, какой у нас имеется. Вы слышите море, ребята? Это то самое море, которое знакомо и нам, жестокое, зеленое, загрязненное.

Что говорит эта комната о мистере Эндерби? В порядке, с каким

расположены безделушки, явно чувствуется рука миссис Мельдрам, его домохозяйки. Да, взирайте на них с изумлением: вереницы слоников черного дерева – от маленького к большому, очаровательнейшая фарфоровая пастушка, играющая на флейте невидимым овечкам, гипсовая игрушечная подставка для гренок с лупящейся блэкпуловской позолотой, коробка для чая в форме почерневшего Брайтоновского павильона, крашенный под мрамор подсвечник из папье-маше, фарфоровая сучка и ее фарфоровый выводок, филигранная шкатулка для пуговиц. Вам нравится картина над полкой электрического камина? На ней мужчины в красных куртках готовятся провести утро за охотой, все мужчины на одно лицо, поскольку, как мы предполагаем, псевдохудожнику была по карману только одна модель. На противоположной стене британские адмиралы восемнадцатого столетия разворачивают карту *terra incognita*, а в пенных кубках блещет отсвет камина. Вот тут развеселые монахи удят рыбу в четверг, а там пожирают свой пятничный пир. Головка сумасбродки двадцатых годов, при шляпе и губной помаде – на узкой стене сразу за кухонной дверью. Перестань ковырять в носу, Эмили. И, как я уже говорил, Чарлз, выдувать пузыри из слюны на нижней губе – сущее ребячество. Кухня едва ли достойна осмотра. Хорошо, хорошо, если вы настаиваете.

Как крепко воняет заплесневелым хлебом! Видите, как светится в темноте та рыба? Сковороды на высокой полке. Не трогай, Деннис, не трогай. Ах ты негодный!.. Все треклятые сковородки с грохотом и лязгом попадали вниз. Будешь еще смеяться, недотепа ты безрукий?! То-то я по вашим задницам посмеюсь, когда верну вас назад в цивилизованный мир! О боже, сотейник опрокинул чайник! Газовая плита залита водой! Какой жуткий металлический лязг! Кто рассыпал перец? Перестаньте чихать, мать вашу! А-а-пчхи! Какие вы неуклюжие! Быстро марш отсюда!

Никому из вас нельзя доверять. Последний раз провожу такую экскурсию! Сейчас же посмотрите на викторианские крыши в рыбьей чешуе черепицы под новогодней луной! Вы больше никогда их не увидите. Ничего больше не увидите в этом городке, в квартирах и меблированных комнатах которого ушедшие на покой и умирающие хрипят и сипят до рассвета. Очень похоже на огромную расческу, правда? Подмигивает блестящая изукрашенная ручка, зубцы улиц прочесывают глушь пустошей, вон там волосяной шарик дыма с железнодорожного вокзала... А над нами январское небо: Рукав альфы Центавры, Змееносец, Стрелец, планеты эпох, войны и любви клонятся к западу. И тот человек внизу, которого устроенный вами кавардак пробудил от диспепсического, с образованием газов в кишечнике сна, придает всему этому смысл.

Проснулся Эндерби от лязга и изжоги. К изголовью его кровати крепилась лампочка на прищепке с пластмассовым абажуром. Только включив ее, он сообразил, что дрожит от холода, и увидел почему. Подобрал с полу скомканные простыни, он кое-как укрылся и улегся назад смаковать боль. В ней чувствовалась необъяснимая нотка сырой репы. Шум? Так это, верно, воют кухонные божки. Крысы. Нужно бы питьевой соды принять. Надо (по меньшей мере в тысячный раз напомнил он себе) заранее смешивать ее с водой и держать под рукой у кровати. Укол заостренной сырой репой расколол ему грудину. Надо встать.

Он увидел себя в зеркале гардероба: скорчившийся ревматичный робот в пижаме шаркает в крошечный коридор. В столовой он включил свет – так пес вынюхивает кого-то, кто ловко скрылся. Ну конечно! Вокруг хнычут призраки, призраки мертвого года. Или, возможно (он язвительно улыбнулся дурашливому, тщеславному образу), сюда робко заглянули грядущие поколения. Его поразил беспорядок на кухне. Впрочем, такое случается: хрупкое равновесие вдруг нарушает микрометрическое оседание старого дома, дрожь земли или своевольные кочевники среди самой утвари. Взяв с сушилки мутный стакан, он наметелил снежную горку бикарбоната натрия, потом, залив водой, размешал двумя пальцами и выпил. Он выждал тридцать секунд, щурясь на матовое стекло задней двери. Крохотная ручонка, прячущаяся под его надгортанником, подала знак: пора. А потом...

Упоительно! Ах, доктор, что за облегчение! Думаю, мне следует письменно поблагодарить вас за пользу, приносимую вашим продуктом. Ааааарх. Почти сразу за вторым спазмом облегчения накатил бешеный и бесстыдный голод. Он сделал три шага, необходимых, чтобы попасть от раковины к буфету, и обнаружил, что шлепает по ледяной воде, разлитой у плиты. Вытерев ноги об уроненное кухонное полотенце, он вернул на полку упавшие сковороды (он морщился от стариковской боли, когда нагибался за ними!). Потом вспомнил, что нужно вставить зубы, поэтому побрел назад в спальню, по дороге включив электрокамин в гостиной. Он поцокал перед зеркалом с фальшивым блеском, потом совершил краткий и неуклюжий танец ярости, пугая двойника за стеклом. В буфете нашлись катышки окаменевшего чеддера в грязной обертке. Рядом в банке с густым маринадом плавал похожий на кукольные мозги одинокий карлик цветной капусты. Еще было полбанки сардин, эдаких пухлых ножей в золотистом



масле. Он ел руками, которые затем насухо вытер о пижаму.

Почти сразу среагировал кишечник. Метнувшись – ни дать ни взять персонаж глупой комедии – в сортир, он со вздохом сел и включил обогреватель. Почесал босые ноги и задумчиво взялся за исчерканный черновик, над которым работал. Хррпффрумппфф. Это был набросок аллегории, повествовательной поэмы, сплавившей два мифа – микенский и христианский. Крылатый бык слетал с небес с воем ветра. У-ууу-хууууу. Супруга законодателя обесчещена. Беременная, изгнанная мужем как потаскуха, она под чужим именем приходит в крошечную деревушку и там, на дешевом постоялом дворе производит на свет Минотавра. Но старая опухшая карга, помогавшая ей при родах, не способна хранить секреты: она раструбила на всю деревушку (и слух разошелся дальше по градам и весям до самой столицы), что на землю пришел бог-человек-зверь, чтобы править миром. Фррррфрр. Преисполнившись надежд, анархисты восстали против законодателя, ибо предания давно уже предвещали приход божественного вождя. Разразилась гражданская война, с обеих сторон сверкали острые молнии пропаганды. «Зверь – это зло, – твердил царь Минос, – поймите его, убейте его!» «Зверь это бог!» – кричали повстанцы. Но никто, кроме царицы-матери и беззубой повитухи, зверя не видел. Брррр-пххх-пфр. Малыш Минотавр, быстро и энергично поревывая, рос, надежно укрытый от мира со своей родительницей в одинокой хижине. Но в результате предательства агенты Миноса прознали, где он. Пусть технически он и монстр, подумал Минос, когда существо привезли к нему во дворец, в нем нет ничего жуткого: в его ласковых глазах сияли озерца любви. Теперь, когда талисман и знамя мятежа были в его руках, Минос потребовал, чтобы мятежники сдались. Он велел построить лабиринт, огромный и мраморно-великолепный, в сердце которого спрятал Минотавра. Пропаганда превратила Минотавра в неопишное чудовище, якобы питающееся человеческим мясом, он сделался государственным пугалом и государственной виной. Но так как царь Минос был экономным, периферийные коридоры лабиринта стали также обителью критской культуры, приютив университет, музей, библиотеку, галерею искусств: сокровищница достижений человечества, красота и знание, выросшие вокруг ядра из греха, – как суть человеческого бытия. Ф-фффррр-ф (это размотался рулон туалетной бумаги). Но однажды с запада пришел освободитель-пелагианец, человек, не ведавший греха, убийца вины. Минос к тому времени давно почил вместе со своей бесстыдной царицей и повитухой. Говорили, что никто, видевший чудовище, не уцелел, чтобы о нем поведать. Встреченный цветами, криками радости и вином

освободитель взялся за свой героический труд. Светловолосый, загорелый, мускулистый, безгрешный, он вступил в лабиринт и день спустя вышел, ведя за собой на веревке чудовище. Ласковое, как домашний зверек, оно взглянуло на людей обиженными и всепрощающими глазами. Люди же схватили его, принялись осыпать бранью, пинать и бить. Наконец, его прибили к кресту, где оно медленно издохло. В то мгновение, когда его дух отлетел, раздались вселенские грохот и треск. Лабиринт рухнул, книги были погребены под обломками, статуи стерты в пыль: цивилизации пришел конец. Аэrr-rrr-хх.

Предварительно поэма назвалась «Ласковое чудовище». Эндерби понимал, что над ней еще работать и работать, прояснять символы, распутывать технические узлы. Следовало ввести безучастного ремесленника Дедала, гения-отшельника, знающего наилучший способ бегства. Была еще пантомима с коровой Пасифаи. Он произнес на пробу – низким и сиплым голосом – строку-другую перед притихшей аудиторией из грязных полотенец:

Царь во сне холодный суд творил,  
А смерд трудился в поле что есть сил —  
И напевал, работой увлечен.  
Таков порядок и таков закон:  
Творец творит. Не спрашивает он.

Слова, разнесшиеся по укромной каморке, подействовали как заклинание. Сразу за хлипкой дверью квартиры мистера Эндерби на первом этаже располагался вестибюль дома. И сейчас он слышал, как со скрипом открывается входная дверь и туда набиваются новогодние гуляки. Он узнал глупый сиплый голос коммивояжера, жившего этажом выше, и довольный смех его сожительницы. Были и другие голоса – голоса, которые невозможно приписать знакомым людям, обобщенные голоса читателей «Дейли миррор», тех, кто смотрит телевизор и покупает в рассрочку, тех, кто пьет поддельный сидр. Послышались громкие и веселые поздравления:

– С Новым годом, Эндерби!

– Фrrrrф!

– Мне нехорошо, – слышался женский голос. – Меня сейчас стошнит.

И судя по звукам, ее тут же стошнило.

– Прочитай нам стишок, Эндерби, – крикнул кто-то. – «Эскимоску

Нэлл» или «Славный корабль Венера».

– Спой нам, Эндерби!

– Джек, – слабым голосом произнесла женщина, – я пойду наверх. С меня хватит.

– Иди, дорогая, – откликнулся коммивояжер. – Я через минуту. Надо сперва спеть серенаду старику Эндерби.

Сначала раздался шум от сильного удара о дверь квартиры Эндерби, за ним послышались хормейстерские «раз, два, три», а после – бодрая, хоть и рваная мелодия «Ах, мой милый Августин», но с грубыми английскими словами:

На хрен друга Эндерби, Эндерби, Эндерби,

На хрен друга Эндерби, на хрен пошел.

Выйти к нам не хочет, знай сидит и дрожит – и...

Эндерби затолкал в уши катышки жеваной туалетной бумаги. В безопасности запертой квартиры он теперь для верности заперся еще и в ванной. Почесывая согревшуюся босую ногу, он постарался сосредоточиться на поэме. Гуляки вскоре сдали позиции и рассеялись. Ему показалось, что коммивояжер крикнул:

– Конец тебе, Эндерби!

### 3

Надежно укутанный от пронизывающего приморского холода Эндерби шел по Фицгерберт-авеню к морю. Была половина одиннадцатого утра (по часам на ратуше), и пабы только-только открывались. Он миновал «Грейдлэх» («Для ребят из Грейдли»), «Кайэ-Ора» (новозеландцы на пенсии), «Тай-Гвин» (содержатели – пара из Тридгара), «Вид на Ла-Манш», «Белые столбы», «Дольче Домус», «Лавры», «Итаку» (владелец – бывший преподаватель античной литературы и осужденный педераст). Нарезанные на квартиры, низведенные до пансионатов, эти некогда красивые особняки принадлежали чужеземцам с севера и с запада от Даунса, подпавшего под лживые чары южного побережья: по ночам через пролив подмигивала Франция, и воздух казался приятно мягким. Но не сегодня, решил Эндерби, хлопая, чтобы согреть руки, медвежьими лапами шерстяных варежек. На нем был розовый в коричневую и ванильную полоску шарф, туго перепоясанное пальто тяжелого мельтоновского сукна, от небес его

укрывал баскский берет. Дом, где располагалась его квартира, остался (благодаренье тем самым небесам) безмянным. Просто номер 81 по Фицгерберт-авеню. Появится ли однажды на нем табличка в знак того, что он там жил? Эндерби был совершенно уверен, что нет. Он принадлежал к вымирающей расе, на которую мир не обращал внимания. Ура!

Свернув на Эспланаду, Эндерби стал в конец очереди из старух в булочной и вышел оттуда с буханкой за семь пенни. Подойдя к перилам, он оперся о них и начал ломать буханку. С криком слетелись на бросаемый хлеб чайки, жадные твари с глазами-бусинками, а море, зеленовато-серый зимний Ла-Манш, с гиканьем набегало и ворчливо откатывалось, точно под кнутом укротителя, неохотно потрясая бубенцами пены. Бросив последние крошки студеному ветру и парящим серым птицам, Эндерби пошел прочь. Но перед тем как войти в «Нептун», обернулся посмотреть на море и увидел в нем, как часто бывает на расстоянии, умненькое и непоседливое зеленое дитя, научившееся без линейки проводить прямую черту.

Салун-бар «Нептуна» был уже наполовину полон старичьем, по большей части вдовым.

– Доброе утро, – поздоровался умирающий генерал-майор, – и счастливого вам Нового года.

Пара древних стариков сравнивали свои артриты за детскими кружечками портера. Бородатая дама пила портвейн и медленно, беззубо что-то пережевывала.

– И вам того же, – откликнулся Эндерби.

– Вот бы до весны дотянуть, – сказал генерал, – большего и не надо. На большее я и не надеюсь.

Эндерби сел со своим виски. Среди престарелых он чувствовал себя как дома, был принят в их кружок, невзирая на свою нелепую юность. Впрочем, его официальный возраст интересовал лишь страховщиков. Сейчас, когда глотку ему обжег виски, его мелкие и острые боли, отсутствие интереса к действию – все это делало его таким же старым, как развалины, среди которых он сидел.

– Как... – спросил подергивающийся пергаментный старичок, – как ваш... – Его рука трясла бокал, точно стакан для игры в кости. – Как ваш желудок?

– Редкостные рези, – отозвался Эндерби. – Почти видимые глазу, понимаете. И газы.

– Газы, – вмешался генерал-майор, – о, да, газы! – Он говорил о них, словно о редком старом коньяке. – Сколько лет их у меня уже не было! Теперь я, конечно, ничего не ем. Немного хлеба, размоченного в теплом

молоке, утром и вечером. Клянусь, только ром держит меня на плаву. Я же вам рассказывал, правда, про схватки за пайковый ром в Брудерструме?

– Неоднократно, – ответил Эндерби. – История весьма недурна.

– Правда? – мучительно оживился генерал. – Правда, недурна? И сущая правда. Невероятно, но сущая правда!

– А вот у меня, – подала голос с барного стула плебейского вида карга в грязном черном платье, – удалили кусок желудка.

Ответом ей стало молчание. Пожилые мужчины задумались над таким дармовым откровением, размышляя, не дурной ли это вкус из уст женщины, к тому же едва знакомой.

– Вы, верно, напереживались, – доброжелательно сказал Эндерби.

Старуха посмотрела с хитрецей, вцепилась покрепче в барную стойку пергаментными пальцами с почти окаменевшими костяшками и, накренившись на табурете в сторону Эндерби, очень громко произнесла:

– Прошу прощения?

– Столько переживаний, такое не забывается.

– Шесть часов на столе, – закивала старуха. – Здесь меня никто не переплюнет.

– Бах! – закричал генерал-майор тоном анемичного моряка. – Бах-бах! – Он не ударился в воспоминания о Первой мировой, а подзывал бармена, чтобы тот налил ему свежую порцию рома.

Из-за барной стойки вынырнул бармен по фамилии Бах: за семьдесят, в белой куртке официанта, с фальшивой улыбкой, одновременно слабоумной и лстивой, седовласая голова вечно скособочена набок, как у прислушивающегося попугая.

– Да, генерал? – спросил он. – Повторить, сэр? Отлично, сэр.

– Вечно я ему объясняю, как правильно, – пожаловался дряхлый старик с лысой головой-яйцом, как у Сибелиуса<sup>[3]</sup>. – Словечко-то в ходу у барменов и домохозяев. Я им, дескать, того же самого, а они в ответ: «то самое» не бывает. Но хочется ведь того самого. Повторять-то не хочется. Вы же словами занимаетесь, Эндерби. Вы писатель. Что вы об этом думаете?

– То же самое, – согласился Эндерби. – Из той же самой бутылки. А повторить – это нечто другое.

– Профессор Тейлор, помнится, очень убедительные аргументы приводил, – сказал старик, весь в сенильных пятнах, как салями, и с каплей на кончике крючковатого носа.

– А куда подевался Тейлор? – спросил генерал-майор. – Его уже давно не видно.



– Умер, – ответил пятнистый. – На прошлой неделе. Когда вытаскивал пробку. Порок сердца.

– Тейлор умер, – протянул генерал. – А я и не знал.

Он забрал ром у подбострастного Баха. Бах принял мелочь с подбострастным наклоном ломаного и починенного торса.

– Я-то думал, что уйду первым, – продолжал генерал, – но я еще здесь.

– Не так уж вы и стары, – сказал трясущийся пергаментный.

– Мне восемьдесят пять, – возмущенно надулся генерал. – Я бы назвал такой возраст почтенным.

С насестов слетелись птицы высшего полета. Одна старуха кокетливо призналась, что ей девяносто. И, будто в доказательство, выдала несколько па вальса, напевая себе под нос из «Веселой вдовы». Села она под вежливые, шокированные аплодисменты с посиневшими губами, сердце у нее почти слышимо ухало.

– А сколько вам, Эндерби? – поинтересовался двойник Сибелиуса.

– Сорок пять.

Ответом ему стало фырканье, одновременно презрительное и насмешливое.

– Если это шутка, то, пожалуй, в дурном вкусе! – пискнул старичок в углу.

Генерал-майор строго и решительно повернулся к Эндерби, твердо положив руки на голову бульдога слоновой кости, набалдашник трости.

– И чем вы зарабатываете на жизнь? – спросил он.

– Вы уже знаете, – откликнулся Эндерби. – Я поэт.

– Да, да, но на что вы живете? Только сэр Вальтер зарабатывал на литературе. И возможно, еще тот англо-индус, что жил в Бериуше<sup>[4]</sup>.

– Кое-какие вложения, – ответил Эндерби.

– Какие именно?

– «Институт инвестиций», «Бритиш моторз корпорейшн» и «Батлинз». И облигации локальных государственных займов.

Генерал-майор хмыкнул, точно каждый из ответов Эндерби вызывал серьезные подозрения.

– А в каком звании в последней войне служили? – спросил он, нанося последний удар.

Не успел Эндерби солгать в ответ, высокая худая вдова в дряхлом твиде, в очках в черной оправе, упала с низкого табурета у плетеного стола. Старики дрожащими руками потянулись за палками, чтобы кое-как подняться и ей помочь. Но Эндерби подоспел первым.

– Вы так добры, – учтиво прошамкала старуха. – Так неп’ятно, шо от

меня штолько шлофот.

По всей очевидности, ожидая открытия паба, она основательно нагрузилась дома. Эндерби поднял ее с пола, такую же легкую и нестигаемую, как пучок сельдерея.

– Такое в лучших шемьях случается, – добавила она.

Все еще поддерживая ее под локоть, Эндерби, к шоку своему, увидел в огромном старорежимном зеркале на противоположной стене силуэт своей мачехи. Потрясенный, он едва не уронил свою ношу на пол. А отражение в зеркале кивнуло ему, точно анимированная картинка в телерекламе, и подняло свой стакан в новогоднем тосте, а потом заковыляло, как за кулисы, к краю рамы и за ней исчезло.

– Ну же, Эндерби! – капризничал тем временем генерал-майор. – Посадите ее на место.

– Вы очень доб’ы, – прошамкала вдова, изо всех сил стараясь сосредоточиться на своем стакане джина.

Эндерби оглядел комнату в поисках источника того отражения в зеркале, но увидел лишь, как кто-то, согнувшись, ковылял в мужской туалет. Вот в чем, наверное, дело – игра света или Новый год сам по себе. Удивительно, но как раз мачеха любила рассказывать байку о том, как в первый день Нового года по улицам расхаживает человек, у него на лице столько носов, сколько дней в году. В детстве он выискивал этого человека, опасливо считая его членом семейства антихристов, которые ходят по земле до Судного дня. Еще долгое время после того, как он понял, в чем подвох, первый день Нового года хранил для него раздражающий привкус жути – как день всевозможных отклонений. Он был почти уверен, что мачеха мертва и похоронена. По крайней мере, в его отношении она свою работенку исполнила как могла. Ей незачем было оставаться в живых или возвращаться из мертвых.

– Так вот, – сказал генерал-майор, когда Эндерби сел с новым стаканом виски, – в каком звании, вы говорите, служили?

– Генерал-лейтенанта, – ответил Эндерби: в речи запятая ничем не хуже дефиса.

– Я вам не верю.

– Так проверьте.

Эндерби был почти уверен, что видел, как мачеха выходит с четвертной бутылкой «Бутса» в продуктовой сумке. «Нептун» был из тех пабов, где каждое из трех отделений – общий зал, салун-бар и на вынос – просматривалось из двух других остальных. Эндерби пролил виски на галстук.

– Вы виски на галстук вылили, – произнес вдруг до того молчавший старик, указывая на Эндерби дрожащей рукой.

Эндерби подумал, что от страха может случиться и что похуже. Внешний мир небезопасен. Нужно вернуться домой, запереться, работать над поэмой. Допив оставшийся в стакане глоток, он застегнулся и надел баскский берет.

– Я вам не верю, сэр, – повторил генерал-майор.

– Как вам будет угодно, генерал, – ответил бывший лейтенант Эндерби. И с генеральским салютом ушел.

– Он лжец, – возмутился ему в спину генерал-майор. – Я всегда знал, что ему нельзя доверять. И в то, что он поэт, я не верю. Что-то в нем сегодня утром было скользкое.

– Я читал про него в публичной библиотеке, – откликнулся пятнистый. – Там и фотография была. Это была статья, и автор очень его хвалил.

– Да кто он такой? Откуда он взялся? – спросил еще один.

– Он держится особняком, – ответил пятнистый и как раз вовремя втянул опасно свисающую каплю.

– И все равно он лжец, – не унимался генерал-майор. – Сегодня же проверю список офицерского состава.

Он так и не проверил. Один водитель, раздраженный и издерганный от новогоднего похмелья, сбил его, когда он переходил Ноллекенс-авеню. Задолго до весны генерал-майор удостоился посмертной славы.

## 4

На раздираемом чайками воздухе, под новогодним небом, у наползающего взбитыми сливками прилива Эндерби почувствовал себя лучше. В этом резком свете не было места призракам. Но потусторонняя гостья, точно судебный пристав, требовала отдать дань прошлому, прежде чем, как в начале каждого года, смотреть в будущее.

Эндерби вспомнил о своей матери, умершей при родах, сведений о которой вообще не сохранилось. Ему нравилось представлять молодую женщину, светловолосую, мило утонченную и худощаво податливую. Ему нравилось представлять ее себе окутанную золотым светом в дышащей пчелиным воском гостиней, поющую «Мимолетную жизнь» под собственный аккомпанемент. Спадающий жар июльского дня с грустью залетал в распахнутые двери из сада, полыхавшего «Кримсон глори»,

«Мадам Л. Дьедонне», «Эной Харкнесс», «Золотыми призраками» и розами прочих сортов. Он мысленно видел отца: педанта и книгочея в шлепанцах, который пускал колечки дыма и кивал в тихом удовольствии от музыки. В действительности отец был совершенно иным. Этот оптовый торговец табаком, правивший записями в гроссбухе при помощи черной линейки-скипетра, торчал в жилетке и котелке в конторе позади лавки, где считал часы до открытия пабов. Почему? Чтобы сбежать от мерзавки, второй жены. Почему, скажите на милость, он на ней женился? «Деньги, сынок. Первый муж оставил ей гору денег. И будем надеяться, что ее пасынок пожнет плоды». До какой-то степени так и вышло. Отсюда несколько сотен в год от «Института инвестиций», «Бритиш моторз» и так далее. Но стоило ли оно того?

Вторая жена не отличалась ни утонченностью, ни мягкостью. Этот центр обвешенного кольцами и брошами жира до рези вонял разными женскими запахами, вонял, как забытый в погребе кролик или стухшая говядина, а ее комната была завалена грязными панталонами, скомканными комбинациями, прелыми бюстгальтерами... У нее были распухшие костяшки пальцев, отечные ладони, запястья в складках жира, белые слизны предплечий, которые, будучи обнаженными, смотрелись неприлично, точно ляжки. Были еще мозоли, шишки на пальцах, натоптыши и натертости, варикозные вены. Здоровая, как свиноматка, она стонала и жаловалась на боли во всех суставах, на вечные мигрени, болезненную спину, зубы.

– Болят мои ноженьки, – говорила она, – страсть как болят.

Пукала она громко, даже в общественных местах.

– Доктор говорит, мне надо пускать газы. Извиниться всегда успеется.

Ее привычки вызывали омерзение. Она ковыряла в зубах старыми трамвайными билетами, чистила уши заколками для волос, и в их загогулинах застревала ушная сера, которая со временем темнела и уплотнялась. Она чесала интимные места через одежду со звуком чирканья зажигалки, слышимым через две комнаты. Она сооружала чудовищные сэндвичи из всего, что ела, или же резала еду ножницами. Она выплевывала шкурку бекона или жилки свинины на тарелку, выкапывала застрявшее мясо из пещеристых зубов и показывала его всему миру, а куски побольше поддевала грязными пальцами-сосисками. Она рыгала, как корабль в тумане, наливалась крепким пивом по субботним вечерам и бодро издавала звуки тромбона в уборной. Она ругала всех и вся, без оглядки на прилагательные и грамматику, презирала все книги, кроме «Альманаха старого Мура»<sup>[5]</sup>, апокалиптические картинки в котором хоть

как-то понимала. Неграмотная, она всю жизнь подписывала чеки, копируя свою фамилию с прототипа на засаленном клочке бумаги, выводя буквы так же усердно, как китаец иероглифы. Еду она в основном жарила, но перед тем, как поставить на стол, удостоверяться, чтобы жир был едва теплый. Зато она недурно заваривала чай, чтобы было побольше танинов, и своей методе научила маленького Эндерби, чтобы он мог приносить ей по утрам чашку в постель: три пакета на каждого человека плюс два на чайник, сгущенное молоко вместо свежего и сахара не жалеть. Стоя у ее кровати, пока она пила (да она в сущности и не пила: чай впитывался в нее, как в иссохшую землю), Эндерби, тогда шестиклассник, думал, что однажды подложит ей в чашку крысиный яд. Но он так этого и не сделал, хотя крысиный яд купил. Ненависть? Вы себе даже не представляете.

Однажды, когда Эндерби исполнилось семнадцать, отец поехал в Ноттингем посмотреть табачную фабрику и заночевал там. Июльская жара (мачеха в такую погоду обнаруживала худшие свои стороны) вылилась в грозу с ужасающими молниями. Но пугал ее только гром. Эндерби проснулся в пять утра и обнаружил ее у себя в постели: в грязной ночной рубашке, она цеплялась за него от страха. Он встал, и его стошнило в уборной. После он заперся там и читал до рассвета обрывки газет на полу.

О ее смерти ему сообщили, когда он был лейтенантом войск связи в Катании. Она умерла, выпив утреннюю чашку чая, которую принес отец. Сердце отказало. Вечером того дня Эндерби подцепил какую-то итальянку (банка тушенки и пакет галет) и, к ее откровенному смеху, ничего не смог. И снова, когда он вернулся в барак, его стошнило.

На том и все. Мачеха раз и навсегда отвадила его от женщин: каким бы изящным или прелестным ни был фасад, ее призрак всплывал в любом деликатном рыганье, в любой зубочистке. Он отменно управлялся без женщин: запирался у себя в уборной, сам готовил себе еду (сперва позаботившись, чтобы жир был чуть теплым), жил на свои дивиденды и фунт-другой, которые приносили ему стихи. Но по мере того как надвигался средний возраст, мачеха будто бы исподволь проникала в него самого. У него ныла спина и болели ноги, у него появился внушительный живот, а все зубы выпали, он рыгал. Он старался быть аккуратным с бельем и вычищать сковородки, но вмешивалась поэзия, возвышавшая его над тревогами из-за грязи или неряшливости. С другой стороны, все больше и больше заявляла о своих правах диспепсия, басовой тубой врывавшаяся в ажурное переплетение струнных его маленьких творений.

Творчество. Секс. Вот в чем беда искусства. Неотвязное и острое сексуальное возбуждение, следующее за возбуждением от нового образа



или ритма. Но подростковый период предполагал свои способы быстрого облегчения, нормальные отправления в уборной. Шагая в сторону паба «Герб масонов», Эндерби чувствовал, как в желудке у него занимается ветер. Проклятье! Беррп. Что за черт?! В целом, учитывая все и вся, если посмотреть со всех сторон и не слишком вдаваться в детали, он более или менее самодостаточен. Брррп. Черт побери!

## 5

Арри, шеф-повар ресторана «Конуэй», стоял у стойки «Масонов» с пинтовой кружкой, в которой были смешаны янтарный эль и горькое пиво.

– Вона, – прочавкал он Эндерби и протянул длинный окровавленный сверток. Кровь сворачивалась на газетном заголовке о крови какой-то женщины. – Сказал, что достану, и вона достал.

– Спасибо, и счастливого Нового года. Что будешь?

Он отвернул уголок газеты (раздел «Пропавшие без вести» совсем пропитался кровью), и на него стеклянными глазами уставилась голова взрослого зайца.

– Мож'шь сег'ня змня озаплатить, – отозвался Арри.

На нем была бурая куртка свободного покроя, от которой воняло старым салом, на голове – кепка с козырьком. Из верхних зубов у него остались только два клыка. Они торчали, как воротные столбы, между которыми его язык иногда пролезал туда-обратно неуклюжим грузовиком. Родом он был из Олдема, и вся его речь была приправлена местным акцентом, а тут еще и отсутствие зубов...

– Заяц хорош с желе из красной смородины, – сказал Арри. – Обычно полагается подавать желе из красной смородины на художественно вырезанном крутоне. Вырезаешь дурацкий сухарь ножом со специальной насадкой. Быстренько обжариваешь в масле. Жуть какая, жить совсем одному, и не подумал бы, что ты станешь с зайцем заморачиваться.

Он допил свою кружку янтарного с горьким и взял еще за счет Эндерби.

– Рад был тебя повидать. Мне пора. Особый ланч для Ассоциации продавцов машин Южного побережья.

С прихода Эндерби он махом опрокинул три пинты, и все ровнехонько за две минуты. У него были жуткие желудочные боли, чем он и пришелся Эндерби по нраву.

– До скорого, – бросил Арри, уходя.

Эндерби укачивал своего зайца.

В «Герб масонов» хаживали местные лесбиянки за пятьдесят. Большинство прошло через положенные стадии брака: одни были в разводе, другие овдовели или расстались с мужьями. На табурете в углу сидела женщина по имени Глэдис, крашенная пергидролем еврейка под шестьдесят, в очках в черепаховой оправе и светлых с черными пятнами джинсах. Она целовалась – чаще и страстнее, чем следовало бы в честь Нового года, – со своей подругой. У этой второй была щетинистая старая шуба, а еще изящное косоглазие. В бар ворвалась свирепого вида женщина в платье, таком же простом и волосяном, как власяница монаха, в распахнутой шубейке из нутрии и тоже получила свою порцию долгих и липучих приветствий.

– Тпру, Пруденс, охолони, – сказала крашенная Глэдис.

Пруденс, похоже, была очень популярна, наверное, благодаря косоглазью, придающему ей особое обаяние. Тут на Эндерби с привычной силой обрушились фрагменты нового стихотворения: он видел форму, он слышал слова, он чувствовал ритм. Три строфы, каждая начинается с птиц. «Тпру, тпру...», как раз таки охолонуть, умерить пыл голуби и призывают, всегда об этом гулькают. Утка-шутка... энергичные, активные слова, на криканье похожи и вообще почти действие... Какие еще есть птицы? Чайки тут не подойдут. Крашенная Глэдис внезапно и хрипло рассмеялась. Есть какая-то птица... От нее еще уйма шума...

В кармане нашлась авторучка, но ни клочка бумаги. Значит, остается лишь обертка зайца. У головы имелась длинная пустая колонка экстренных новостей: в ней только два одиноких результата футбольных матчей. Он записал родившиеся строки. А еще отрывки, которые слышал только смутно. Смысл? Поэту нет дела до смысла. «Всласть вдовицей насладиться... скорпиона в поле...» Голосок, очень ясный и тонкий, словно бы зудел ему в ухо: «Сделай дерзновенный выбор свой священный».

Глэдис запела дрянную расхожую песенку, написанную каким-то подростком, такие часто передают по радио. Пела она громко.

– Бога ради, заткнитесь уже! – возбужденно крикнул Эндерби.

– Кому это ты говоришь заткнуться? – возмутилась Глэдис. В ее голосе звучала угроза.

– Я стихотворение пытаюсь писать, – объяснил Эндерби.

– Здесь же вроде приличный паб, – вставил кто-то.

Эндерби проглотил свой виски и ушел.

Быстро шагая домой, он старался снова вызвать мысленно ритм, но тот

ушел. Отдельные фразы перестали быть живыми частями мистического тела, обещавшего явить себя целиком. Мертвая, как заяц, бессмысленная ономотопея, дурацкое звяканье: лень-тень, уток-шуток. Великий ритм приближающегося прилива, зимнего ветра с моря, меланхолических чаек... Порыв ветра разбил и разметал нарождающуюся форму стихотворения. Ну и ладно. Сколь мало удастся поймать из миллиона стихов, кокетливыми девчонками манящими из кустов!

Подходя к дому 81 по Фицгерберт-авеню, Эндерби раздел зайца, сняв с него окровавленную бумагу. Почти у самого крыльца к фонарному столбу крепилась муниципальная урна. Бросив в нее ком новостей, крови и зарождавшейся поэзии, он достал ключ. Аккуратный, однако, городок. Нельзя снижать планку, даже если нет отдыхающих. На кухне он начал свежевать зайца. Если потушить с морковью, картошкой и луком, приправить перцем и сельдерейной солью и полить перед подачей остатками рождественского красного вина, еды хватит почти на неделю. Швырнув кишки в блюдо, он разрубил тушку, а после открыл кран. Руки палача, подумал он, опуская взгляд. По локоть в крови. Он попытался изобразить ухмылку убийцы, даже занес ритуальный нож для жертвоприношений – перед воображаемым зеркалом над кухонной раковиной.

Вода из крана отбрасывала на фаянс мойки еле заметную, но все-таки тень. Пришла строка, рефрен: «От воды бегущей неподвижна тень». Вот опять нарастает напряжение! Лень-тень. И тут выплеснулась целиком строфа:

«Действуй! – в кряке уток. – Время не для шуток!  
Или всласть вдовицей насладиться лень?  
Сделай, дерзновенный, выбор свой священный».  
От воды бегущей неподвижна тень.

К черту смысл! Где, черт побери, остальные птицы? Что это были за птицы? Кукушки? Морские чайки? Как звали ту косоглазую лесбийскую дрянь в «Масонах»? С ножом в руке, по локоть в крови, он бросился вон из квартиры, из дома – к урне, приваренной к фонарному столбу. Пока он свежевал и разделявал, мусору прибавилось. Черная коробка из-под фейерверков, пачка из-под сигарет «Синьор сервис», кожура от банана. Все это он бешено бросал в водосток. Он нашел оскверненную газету, в которую была завернута дичь, и безумело стал просматривать страницу за

мятой страницей. «ЭТОТ ЧЕЛОВЕК, ВОЗМОЖНО, ПРОДОЛЖИТ УБИВАТЬ, ПРЕДОСТЕРЕГАЕТ ПОЛИЦИЯ. ТЕПЕРЬ ЭТОГО МАЛЬЧИКА ЛЮБЯТ». «Большинство людей останавливают изжогу при помощи «Ренни». Маниакальная тяга читать все подряд. Он прочел: «Кислота, вызывающая боль, нейтрализуется, и вы испытываете чудесное ощущение, которое говорит вам, что боль начинает отступать. Противокислотные вещества попадают вам в желудок постепенно – капля за каплей...»

– В чем дело? – спросил чиновничий голос. – Что происходит? – Нет сомнений, это был глас закона.

– А? Я ищу треклятых птиц, – ответил Эндерби, снова бешено листая. – Ну слава богу! Вот они. Не до шуток – утки, благоразумен – в шуме. Практически написано. Вот. – Он сунул развернутую газету под нос полицейскому.

– Не так быстро, – откликнулся полицейский, молодой, румяный, как захолустное яблочко, и очень высокий. – Что это за нож? Откуда вся эта кровь?

– Я как раз убивал мачеху, – ответил поглощенный сочинительством Эндерби. – Голубь смотрит строже: «Будь же осторожен».

Он убежал в дом. Женщина из верхней квартиры как раз спускалась и заорала при виде ножа и крови. Переступив порог, Эндерби влетел в уборную, пинком включил обогреватель и сел на низкий унитаз. И тут же по привычке встал, чтобы спустить штаны. Потом, весь окровавленный, начал писать. Кто-то стучал – начальственно и настоятельно – в его входную дверь. Заперев дверь сортира, Эндерби продолжал творить. Вскоре стук прекратился. Полчаса спустя стихотворение уже выплеснулось на бумагу.

«Действуй! – в крике уток. – Время не для шуток!  
Или всласть вдовичей насладиться лень?  
Сделай, дерзновенный, выбор свой священный».   
От воды бегущей неподвижна тень.

Голубь смотрит строже: «Будь же осторожен!»  
Скорпиона в поле, друг мой, не задень.  
Счастье вроде рядом, а не без пригляда».   
От воды бегущей неподвижна тень.

Приказ в первой строфе читался достаточно ясно, но был обращен

лишь к нему одному. Тут он задумался, а возможно ли взаправду последовать этому совету, сделать этот год отличным от остальных?

Слышу в птичьем шуме: «Будь благоразумен!  
Ведь вдове скорбной уж никак не лень  
С милым повстречаться в вихре знойной страсти...»  
От воды бегущей неподвижна тень.

Только теперь он услышал, что на кухне потоком течет вода. Забыл завернуть кран. И все это время бегущая вода отбрасывала неподвижную тень. Встав с унитаза, он автоматически потянул за цепочку. Кто та, мать ее, вдовица, о которой говорится в стихотворении?



## Глава вторая

### 1

Пока Эндерби завтракал разогретой тушеной зайчатиной с маринованными грецкими орешками и мачехиным чаем, почтальон принес судьбоносное письмо. Конверт был плотным, богатым, кремового оттенка; напечатанный черным адрес выглядел жирно, точно в машинку вставили новую ленту как раз ради этого священного имени. На самом листе красовался герб известной сети книжных магазинов. В письме Эндерби поздравляли с его прошлогодним сборником («Революционными сонетами») и с превеликой радостью объявляли, что он был удостоен ежегодной поэтической премии фирмы в виде золотой медали и пятидесяти гиней; Эндерби сердечно приглашали на торжественный ланч, который состоится в банкетном зале пугающе фешенебельного лондонского отеля, где ему вручат награды под рукоплескания литературного мира. Эндерби забыл про остывающую зайчатину. Третий вторник января. Просим об ответе. Он был ошарашен. И опять же поздравления. Лондон. Само название пробуждало ту же реакцию, что и рак легких, превышенный кредит, мачеха.

Он не поедет, не может поехать, у него нет костюма. Сейчас на нем были очки, однодневная щетина, пижама, свитер-поло, спортивная куртка и очень старые вельветовые штаны. В платяном шкафу висели фланелевые брюки и муаровый жилет. Устраивая свою жизнь после демобилизации, он решил, что их вполне хватит для поэта, причем муаровый жилет, возможно, был даже неприличной роскошью, экстравагантностью в духе биржевого брокера. Жилет ему по ошибке присудили за пять шиллингов на аукционе.

Лондон. Его захлестнула череда жутких картинок: одни были выведены из собственного опыта, другие – из книг. В конце войны, когда он отыскивал могилу Уильяма Хэзлитта на кладбище в Сохо, на него напал констебль и отволоч на Боу-стрит по обвинению в «промедлении с преступными намерениями». Однажды он поскользнулся на тротуаре перед «Фойлзом»<sup>[6]</sup>, и человек, который помог ему подняться – кряжистый, пожилой, с жесткими седыми волосами, – выклянчил у него пятерку, «помочь чуток, потому как на неделе бастуем, хозяин». Это случилось сразу после приобретения муарового жилета: десять шиллингов псу под хвост. У писсуара в сортире очень задымленного паба его – невероятно! –

пригласил на вечеринку с минетом красивый незнакомец в элегантном вечернем смокинге. В ответ на вежливый отказ Эндерби незнакомец повел себя гадко и пригрозил закричать, что Эндерби его домогался. Очень неприятно. К прочим воспоминаниям, от которых Эндерби ежился (включая мучительное о десятифунтовой банкноте в «Кафе-рояль»), примешивались фрагменты «Оливера Твиста», «Бесплодной земли» Элиота и «1984». Лондон был ненужно большим, льстиво враждебным городом, где теряешь деньги и приобретаешь заболевания. Эндерби скривился при мысли о «Дневнике чумного года» Даниеля Дэфо. Опять всему виной, думал он (опорожня сковородку с остывшей едой), мачеха. В возрасте пятнадцати лет он купил у старьевщика на городском рынке томик в одну двенадцатую рецептов, сплетен и назиданий, напечатанный в 1605 году. Но когда он принес его домой, мачеха, умевшая разбирать цифры, подняла крик. 1605-й означал «старые дни», то есть Генриха VIII, топор палача и Великую чуму. Щипцами она сунула книгу в кухонную плиту, вопя, дескать, та кишит смертоносными микробами – ограниченное, хотя и живое, восприятие истории.

И как раз из-за истории она отказывалась ездить в Лондон. Она считала, что там сплошь кровавый Тауэр, демонические цирюльники с Флит-стрит, а еще опасные эскалаторы. Поворачивая кран с горячей водой, Эндерби вдруг сообразил, что котел не вспыхнул, как должен был. В счетчик следовало бросить шиллинг, а ему было лень идти его искать. Он вымыл глубокую тарелку и кружку в холодной воде, размышляя, что в точности так поступала мачеха (ножи и вилки покрывались слоем жира, точно пистолеты смазкой). Она была очень ленива, очень глупа, очень суеверна. Он решил все-таки поехать в Лондон. В конце концов, это не так далеко – всего час на электричке – и незачем проводить ночь в отеле. Наверное, это даже честь. Придется одолжить у кого-нибудь костюм. У Арри уж точно костюм есть. У них приблизительно один размер.

Вздохнув, Эндерби пошел в сортир к своим трудам. Он с сомнением глянул на ванну, полную записок, черновиков, чистовых копий, еще не включенных в будущий сборник стихотворений, книг, чернильниц, пачек из-под сигарет, остатков случайных перекусов за работой. Имелась еще пара-тройка мышей, которые жили под сором и которых в их деловитом добывании себе объедков поощрял Эндерби. Иногда какая-нибудь из них выбиралась на поверхность и усаживалась на краю ванны посмотреть, как поэт с ручкой в руке пялится в потолок. С ним они никогда не корчились от страха и не робели (он, кажется, забыл значение слова «утаиваться»). Эндерби создавал, что великое событие потребует принятия ванны.

Люстрация перед ритуальным ланчем. Однажды в каком-то женском журнале он прочел мрачную апофегму, которой не забывал никогда: «Принимай ванну дважды в день, чтобы быть по-настоящему чистой, раз в день, чтобы быть сносно чистой, раз в неделю, чтобы избежать угрозы обществу». С другой стороны, Фридрих Великий ни разу в жизни не мылся, и его труп был насыщенного цвета черного дерева. Отношение Эндерби к принятию ванны не отличалось ни одержимостью чистотой, ни *sans souci*<sup>[7]</sup> (*Sans Souci*, так ведь назывался любимый дворец самого Фридриха?). В таких делах он был эмпириком. Хотя он признавал, что раз в неделю или две ванна необходима, его ужасало, что придется убирать рукописи, наливать ванну и лишать мышей пристанища. Он пойдет на компромисс: почти целиком вымоется в тазу. Вдобавок с особым тщанием побреется и подравняет волосы ножницами для ногтей.

Большинство современных поэтов, угрюмо подумал Эндерби, не просто сносно чисты, но прямо-таки опрятны. А начало всему положил Т. С. Элиот с его чушью про «Ллойдс банк» – истинное предательство по отношению к клеркам. До него, как хотелось думать Эндерби, чистота и опрятность были уделом лишь авторов журнальных баллад и триолетов. Но он всем покажет, когда поедет за своей золотой медалью: он побьет рифмоплетов на их собственном поле. Эндерби вздохнул, садясь голыми ягодицами на свой поэтический трон. Первым делом надо сочинить письмо с благодарностями. Но проза – не его стезя.

После нескольких помпезных черновиков, которые он смял и бросил под унитаз, Эндерби сварганил письмо похоронными катренами «*In Memoriam*», замаскированными под прозу. «Благодарность за сию премию, хотя и посылаемая со всем смирением, должна исходить однако не от меня, а от моей музыки и от Господа...» Он помедлил, когда из памяти всплыла абсурдная аналогия. В дни отчаянной послевоенной нехватки продовольствия он заказал в одном лондонском ресторане пирог с крольчатинной. Но в пироге, когда его наконец подали, оказалась одна лишь куриная грудка. Сия тайна так и осталась неразгаданной. Отмахнувшись от нее, он продолжил выдавать куриную грудку стихов за крольчатину прозы. Мышка, подобрав лапки наподобие кенгуру, устроилась наблюдать.

Эндерби застал облаченного во все белое Арри в его подземной кухне: поставив поближе кружку с янтарным элем, Арри нарезал тонюсенькой

стружкой свинину, а придурковатый поваренок в хаки бросал на тарелки пригоршни капусты. Промахиваясь, он тщательно подбирал рассыпанные порции с пола и пробовал снова. С грузовика из Смитфилда с прибаутками сгружали порубленные говяжьи туши: жир – цвета золотого руна, мясо – оттенка разбавленного бургундского.

– Мне нужно поехать в Лондон на вручение премии – медали и пятидесяти гиней, – сказал Эндерби. – Но у меня нет костюма.

– Отличный себе прикупишь, – откликнулся Арри, – на такую-то сумму. – Вид у него был не слишком счастливый: он хмурился на свою ювелирную работу, как хирург, спасающий жизнь заклятому врагу. – Вот, – произнес он, вилок поднося к свету прозрачный ломтик. – Тоньше не придумаешь.

– Но какой смысл покупать костюм только по такому случаю? – возразил Эндерби. – Я, возможно, вообще никогда больше костюм не надену. Поэтому решил спросить: ты мне свой не одолжишь? У тебя же много.

Арри промолчал. Еще какое-то время порассматривав придирчиво ломтик на вилке, он кивнул, словно принял его вызов и победил. Потом вернулся к прежнему занятию.

– С костюмами ты в точку попал, – с обычной своей чудовищной шепелявостью неразборчиво прошамкал он. – Вечно я людям одолжения делаю. И что я с этого имею?

Он печально глянул на Эндерби, его язык показался и исчез между воротными столбами-зубами, точно смахивая слезу.

– Ты же знаешь, что можешь на меня положиться, – смущенно откликнулся Эндерби. – То есть во всем, на что я способен. Но у меня только один талант, а от него тебе проку мало. Да и всем остальным тоже. – Жалость к себе, очевидно, была заразной. – Помимо сотни или около того человек тут и в Америке. И одной сумасшедшей поклонницы в Кейптауне. Она, знаешь ли, пишет раз в год, предлагая на ней жениться.

– Поклонницы, – сказал, легко переводя во множественное число, нарезающий Арри. – Так значит, поклонницы – вот чего у меня нет. Это я поклоняюсь – вот в чем загвоздка. – Тут помноженный на шепелявость акцент сделался и вовсе не разборчив. – Совсем исчах. – И чуть разборчивее рявкнул поваренку, когда тот простуженно прогнусавил что-то: – Волован де дэндо в том долбаном буфете!

– Кто? – переспросил Эндерби. – Когда?

– Да наверху, – сказал Арри. – Тельма, что подает в коктейль-баре. Я-то знаю, он тает во рту. А она, цаца, чертовски красивая, вот только жуть

какая жестокая. – Свиная стружка ложилась и ложилась на стол. – Ужас какая сногшибательная.

– Ну, не знаю, – протянул Эндерби.

– Чего не знаешь?

– Кто сногшибательный.

– Да она же! – Арри ткнул ножом в потолок. – Она наверху. Тельма.

– Так почему ты не пойдешь наверх и не приударишь за ней? Только сперва зубы вставь. Знаешь ли, все эти предубеждения насчет зубов...

– А корешки-то мои тут при чем? – удивился Арри. – Я же не съесть ее хочу. Корешки для еды. Я же влюблен, вот в чем закавыка, и при чем тут корешки?

– Наверное, женщинам нравится их видеть, – предположил Эндерби. – Вопрос скорее эстетики, чем практичности. Любовь, говоришь? Ну-ну. Любовь. Давно уже я не слышал, чтобы кто-то был влюблен.

– Да сегодня влюблены все кому не лень. – Арри дорезал свинину и хлебнул своей смеси. – По радио только об этом и твердят. Я раньше над такими дурнями смеялся. А теперь сам влип. Любовь. Чертова докука, да еще в такое время года, когда дел неуправляемый. Фирмы устраивают ланчи да обеды до самого конца февраля. Не мог выбрать худшего времени.

– Так насчет костюма... – начал Эндерби.

Перед ним высилась огромная стеклянная банка с маринованным луком, и при виде ее кишечник грозился заработать. Ему хотелось уйти.

– Можешь сделать для меня кое-что, – сказал Арри, – если от меня чего-то хочешь, чтобы я тебе сделал. – Попробовав на вкус последнее местоимение, он решил, что его откровение требует более «высокого штиля»: – Сделал для тебя, – поправился он. – Я одолжу тебе костюм, если ты напишешь ей за меня, это ведь по твоей части, кропать стишки и все такое. Я посылаю ей наверх всякие вкусности, специально для нее готовлю, но это не слишком романтично. Отменные потрошка в сливках. Они всегда были мои любимые, когда еще было чем есть. А она отправляет их вниз нетронутыми, честное слово. Незадача. Лучше всего сошло бы симпатичное любовное письмо или жалостные стишки. Вот тут-то вступаешь ты, – продолжал Арри. Его змеиный язык показался и исчез. – У меня есть серый, синий, коричневый, бежевый и твидовый в елочку. Выбирай какой хочешь. Сочинишь и подпишешь «Арри» и пошлешь мне, а я перешлю ей наверх.

– Так и написать? «Арри»? – спросил Эндерби.

– Да нет, через «Г» – как «Гарри», а то заладили все Арри да Арри. Две недели стишков – самое оно. Тебе ведь всего пару-тройку минут надо,

чтобы написать такое, что женщины любят. Ты с твоими покойницами все ходы-выходы знаешь.

Перед тем как вернуться к себе, Эндерби воспользовался – длительно, от души и с мукой – мужской уборной на первом этаже отеля. Потом, потрясенный, поднялся в коктейль-бар – выпить виски и посмотреть на Тельму. Нехорошо получится, если он раскопает старые стихи или напишет новые, прославляющие светлые волосы и жемчуга зубов, а она окажется брюнеткой, да к тому же беззубой.

В бар на втором этаже набились торговцы машинами, которые с гоготом и устарелыми прибаутками ухлестывали за весьма импозантной барменшей под сорок. У нее все передние зубы были на месте. Еще ее украшали черные волосы, озорной взгляд, длинные серьги, которые тоненько позвякивали каскадиками крошечных монеток, вздернутый носик и приятный округлый подбородок. Природа наделила ее весьма пышным бюстом. Судя по ее репликам, она была неистощимым кладезем старой барной мудрости, эпиграмм и фразочек из радиопередач. Один торговец машинами купил ей «Гиннесс», а она в ответ угостила его тостом: «Да жить вам вечно, а мне столько, чтобы вас похоронить». Потом, перед тем как выпить, она сказала:

– По губам текло, в животе тепло!

И отхлебнула солидный глоток. Свой небольшой бар она украсила деревянными дощечками с выжженными афоризмами: «Смейся, и мир будет смеяться вместе с тобой. Храпи – и будешь спать один», «Вода, увы, не утоляет жажды», «Если попал из огня да в полымя, уподобься чайнику: свисти». Над батареей бутылок джина красовалась строфа из Элизабет Браунинг (по смыслу, пусть и не по стилю):

И когда Арбитр подведет итог,  
для тебя открывая астрал,  
Он примет в расчет не финальный счет,  
а то, хорошо ль ты играл.

Эндерби усомнился, что сможет добиться такой же гномической натяжки в посвященных ей стихах.

К любовной лирике Эндерби относился бесстрастно, безлично и

профессионально. Он всегда полагал, что наихудшие любовные стихи самые искренние: слишком уж часто трепетные чувства влюбленного (чересчур личные, обращенные на чересчур уж конкретный предмет) мешают идеальному, вселенскому. Любовное стихотворение должно обращаться к идее возлюбленной. Платоническое чувство способно вобрать в себя идеальную грудь, идеальную вонь подмышек, идеальное неудовлетворительное соитие, равно как и призрак с высоким гладким челом, витающий у сонетистов былых времен. Вернувшись в собственную уборную, Эндерби поискал отрывки и черновики того, что дало бы толчок циклу «Арри к Тельме». Он нашел поеденное мышами:

Искал я аромат – нашел в твоих кудрях.  
А свет предвечный мне сиял в твоих очах.  
Где речь, коль не в твоём дыханье, дорогая?  
Движенья я постиг, когда обрел тебя я.

Вполне сошло бы за первый катрен шекспировского сонета. Разумеется, тут он не к месту: в мире Тельмы ритм-пружина и замаскированные рифмы будут восприняты как неумение рифмовать. Потом нашлось:

Ты была – и не было слов,  
Слова срывались не с губ – с обрыва,  
носились в воздухе.  
Но внезапно, в некую долю мгновенья, я понял,  
Содрогаясь в холодном, бесстрастном исступлении:

Безумные порывы, заточенные в записных книжках,  
Деревья, столы, война, связи сложные  
между ними, —  
Лишь ты придавала им форму, была движущей  
силой.  
Ты рядом, – я осознал, – а все остальное неважно.

Он не помнил, чтобы это писал. Упоминание войны датировало строки последними шестью годами. Место? Скорее всего, город с бульварами, столиками под открытым небом. К кому обращено? Да не глупите же, черт

побери! Разумеется, ни к кому не обращено; чистейшая идеальная эмоция. Он продолжал копаться, по локоть погрузив руки в ванну. Мыши сбежали в свой изначальный дом под половицу. Он нашел половину бесценного образчика раннего творчества:

Вся ты —  
Острый кристалл.  
Твои руки —  
Сталь под серебряным шелком.  
Пышны твои волосы,  
Как полевые колосья, вспоенные летним зноем.  
В тебе таится отблеск сияния  
Плоти нагой купальщицы...

Далее рваный край. Наверное, у него в какой-то момент схватило живот. В ванне не нашлось ничего, что подошло бы для Тельмы, даже для идеи Тельмы. Придется сочинить что-то новое. Обнажив свою нижнюю часть для поэтического труда, он опорожнился и принялся за работу. Истинная проблема заключалась в том, как преодолеть пропасть, сочинить такой стих, который не показался бы эксцентричным получателю и одновременно не оконфузил бы автора. Час спустя он выдал следующее:

Солнце красы меж тарелок сияет,  
Стан у плиты робкий взор мой смиряет.  
С грацией кошки, наевшейся сала,  
По полу кухни ты мягко ступала,  
Облагородив изысканным чувством  
Пошлость картошки, вульгарность капусты.

Полны любовью омлет и бифштексы,  
Томно от нежности сдобное тесто,  
Свекла румяна от страсти. Салата  
Листья – что ветви Эдемского сада.  
Пудинг трепещет, любви не тая, —  
Так трепещу, дорогая, и я.

Но после двух этих вымученных строф он обнаружил, что ему трудно



остановиться. Его безжалостно несло, и он давал себя нести в ужасе от все растущей легкости, от неподдельной логореи. Под конец оды он уже перебрал все предметы на кухне Арри и заполнил десяток страниц убористым почерком. Хотелось надеяться, что хотя бы одно он совершенно ясно дал понять: Арри влюблен.

## 4

Наступил день торжественного ланча. Трепещущий Эндерби вылез из кровати рано и увидел, что в утренних сумерках пошел снег. Дрожа, он включил все обогреватели в квартире, потом заварил чай. Снег бессмысленно пялился на него из всех окон, поэтому он задернул шторы, превратив промозглое утро в уютно-кексовый, тепло-носочный вечер. Потом побрился. Вечером третьего дня он помылся довольно основательно. Он почти забыл, каково это бриться новым лезвием, поскольку вот уже почти год пользовался старыми, сложенными стопочкой прошлым жильцом на шкафчике в ванной. Сим утром он располосовал себе щеки, нижнюю губу и адамово яблоко: пена от мыла для бритья превратилась в детское мороженое, sprysнутое смородиновым сиропом. Эндерби нашел старое стихотворение: «И если он сделал, что обещал...» и его обрывками остановил поток. Он начал одеваться, начав с новой пары носков, купленной на январской распродаже, и хорошенько заправив в них брючины пижамных штанов. Затем последовала белая рубашка, специально выстиранная. Полосатый галстук (лайм и горчица) он нашел в чемодане с именем «ПЭДМОР» чернилами по белой тряпочке, пришитой к подкладке (кто есть, был или, возможно, в нереализованном будущем кем станет этот Пэдмор?), и с большим тщанием почистил свою единственную пару коричневых ботинок. Еще два чистых носовых платка – высморкаться и покрасоваться. Он побьет этих городских модников на их собственном поле. Строго серый костюм от Арри был самым элиотовским во всем его гардеробе.

Эндерби приятно удивила торжественная благопристойность фигуры, поклонившейся ему из зеркала платяного шкафа. Элегантный, респектабельный, академичный – поэт-банкир, поэт-издатель, зубы сверкают, как у актера, в свете электрического камина, очки впитывают сияние прикроватной лампы. Довольный собой он пошел завтракать: завтрак сегодня особенный, ведь один бог знает, какой жуткой дрянью под соусом его безжалостно накормят в великолепном светском отеле.

Жаренный в масле пирог с начинкой из мяса и капусты он купил заранее, но, выходя из лавки, поскользнулся на льду. Падение причинило ему боль и расплющило пирог, но съедобности последнего не повредило. Съесть его полагалось с брэнстоновскими пикулями и – в качестве особого лакомства – запить кофе «Блю маунтин». Собирая сейчас эту ритуальную трапезу, Эндерби испытал нежеланное ликование, точно – после многих лет борьбы и лишений – наконец добился успеха. Что купить на премию? Одежду? Ха-ха. Ему же ничего больше не нужно, разве только чуточку больше таланта. Ничего на свете.

Кофе его разочаровал, оказавшись холодноватым и слабым. Может, он неправильно его приготовил? Можно ли брать в таком деле уроки? Существуют ли для такого учителя? Арри. Ну конечно, он попросит Арри! В четверть десятого (поезд в девять пятьдесят, десять минут пешком до вокзала) он сидел с сигаретой, загипнотизированный чередующимися сполохами золотого и алого в электрическом камине, и ждал, когда надо будет выходить. Внезапно его – как блоха – укололо еще одно воспоминание. Далекое детство. Рождество 1924 года. После полудня пошел снег, преобразив трущобную улочку, где располагалась лавка отца. Ему подарили волшебный фонарь, и после обеда ему полагалось проецировать слайды диких животных на стену гостиной. Волшебный фонарь приводился в действие свечой, свеча была новая, зажженный фитиль оказался слишком высок для линзы. Его дядя Джимми, водопроводчик, сказал: «Придется подождать, пока он не сгорит чуток. Сыграй-ка нам что-нибудь, Фред». И Фред, отец Эндерби, сел за пианино и заиграл. Остаток того смутного вечера (память сохранила ярко только громко рыгающую мачеху) все ждали, когда свеча догорит до уровня линзы, чтобы на стене внезапно появились раскрашенные животные.

Почему, спросил вдруг себя теперь Эндерби, почему никому не пришло в голову обрезать свечу? Почему все они, все до единого, согласились ждать, когда соблаговолит свеча? Еще одна загадка, но он спросил себя, а действительно ли это загадка иного порядка, чем нынешнее ожидание: ожидание, когда отмеряющая время шекспировская свеча сгорит достаточно, чтобы пора было тепло одеваться и идти на вокзал. Внезапно Эндерби страстно пожелал срезать всю длинную свечу до самого огрызка – написать свои стихи, и делу конец... – и усмехнулся, когда его желудок, ловко нагнав на него меланхолию, жалобно расписался под такими мыслями. Пфффррп. А после: бррр.

Надо же, какие металлические звуки умеет выдавать его желудок... Но тут он с раздражением сообразил, что это все же дверной звонок. Так рано

и так не вовремя... Приоткрыв входную дверь, Эндерби увидел, как к ней вразвалочку возвращается его домохозяйка миссис Мельдрам. Ладно. Платит он ей по почте. Чем меньше он с ней видится, тем лучше.

– Можно вас на минутку, мистер Э.? – сказала миссис Мельдрам.

Ее лицо словно бы списали с усталого, но веселого полумесяца из рекламы напитка из солодового молока перед сном, какая часто попадалась на глаза Эндерби: острый нос Панча встречается с не менее острым подбородком, но при полном отсутствии милой припухлости Панча. У нее имелся полный набор пластмассовых зубов цвета мелких осколков грязного льда, и теперь она их словно зеркалу показала Эндерби.

– Мне нужно ехать в Лондон, – сказал Эндерби и испытал приятную дрожь от таких слов: он же деловой, светский человек.

– И минуточки не задержу. – Переваливаясь, она протиснулась мимо Эндерби, словно к себе домой, как, впрочем, оно и было. – Только заберу шиллинги из счетчика электричества, – продолжала она, – из-за которых я, кстати, зашла. Иными словами, дело в жалобах.

Она прошла вперед Эндерби в гостиную, а там придирчиво рассмотрела остатки завтрака Эндерби на столе, комично покачала на них головой, а после, взяв банку с пикулями, прочла наклейку, как священник, проборматывающий мессу:

– Сахар, цветная капуста, лук, солод, уксус, томаты, морковь, винный уксус, соленые огурцы, финики.

– Из-за каких жалоб? – спросил Эндерби, как от него и ожидалось.

– Новый год, конечно, особый случай, поскольку требует веселья, но миссис Бейтс, что живет в подвале, жаловалась на очень громкое пение, ее мучила боль в спине. Она говорит, часто упоминалось ваше имя, особенно в одной очень грубой песне. А первого января видели, как вы бегали взад-вперед по улице с разделочным ножом, да еще весь залитый кровью. Ну так вот, мистер Эндерби, веселье, как говорится, весельем, но должна признаться, что в мужчине вашего возраста меня такое удивляет. Полицейские потихоньку перемолвились словечком с мистером Мельдрамом, я-то о том не знала и из него выудила только прошлым вечером, он ведь такой робкий и сдержанный и никому неприятностей не хочет. Так вот, мы об этом поговорили, и так больше, мистер Э., продолжаться не может.

– Я все могу объяснить, – сказал Эндерби, поглядывая на часы. – На самом деле все очень просто.

– И раз уж мы затронули эту тему, – сказала миссис Мельдрам, – та милая молодая пара наверху... Они говорят, что иногда слышат вас по

ночам.

– А я слышу их, – возразил Эндерби, – и они совсем не милая молодая пара.

– Ну это как посмотреть, верно? Для чистых все чисто, можно так выразиться.

– К чему вы клоните, миссис Мельдрам?

Эндерби снова посмотрел на часы. За последние тридцать секунд пролетели пять минут.

– Много кто хотел бы получить такую миленькую квартирку, мистер Э. Это, право слово, респектабельный район. Тут у нас директора школ на пенсии и капитаны промышленности на покое. И ничего не скажу о том, как вы содержите ее в чистоте и порядке.

– Это мое дело, миссис Мельдрам.

– Может быть, это ваше дело, мистер Э., а может, и нет. И как вам, вероятно, известно, все в этом году плату повышают. А если учесть, как растут цены, все мы должны блюсти собственные интересы.

– А, понятно, – сказал Эндерби. – Вот в чем дело. Сколько?

– Никто не станет отрицать, вы очень умеренно платили, – ответила миссис Мельдрам. – Вы весь сезон снимали квартиру за четыре гиней в неделю. Есть один джентльмен, он работает в Лондоне, но очень хочет найти респектабельное жилье. Для него шесть гиней были бы очень разумной квартплатой.

– А мне она очень разумной не кажется, миссис Мельдрам, – сердито произнес Эндерби. Стрелка у него на часах бодро рысила вперед. – Сейчас мне надо уходить. Мне надо поспеть на поезд. – Тут до него дошло: – Вы отдаете себе отчет, что это будет лишних восемь гиней в месяц? – Он был взаправду шокирован. – Где я возьму такие деньги?

– Джентльмен с собственными средствами, – самодовольно откликнулась миссис Мельдрам. – Если не хотите оставаться, мистер Э., всегда можете за неделю предупредить, что съезжаете.

Перед Эндерби замаячила ужасающая перспектива разбирать целую ванну рукописей.

– Сейчас мне надо идти, – сказал он. – Я дам вам знать. Но я считаю, это чересчур.

Миссис Мельдрам не двинулась с места.

– Так бегите на свой поезд и подумайте о моих словах в вашем вагоне первого класса. А я выну шиллинги из счетчика, как иногда полагается делать. И на вашем месте перед уходом я сложила бы тарелки в раковину.

– Не трогайте мои бумаги, – предостерег Эндерби. – В ванной бумаги

личного и конфиденциального характера. Если хоть одну тронете, пеняйте на себя.

– Очень мне надо на себя пенять, – издевательски отозвалась миссис Мельдрам. – Не нравится мне, как это звучит. Бумаги континентального характера! В моей-то ванной!

Тем временем Эндерби повязал шарф и продрался – точно к свету – в рукава пальто.

– В жизни ничего подобного не слышала, и это факт, – продолжала миссис Мельдрам, – а я уже давненько квартиры сдаю. Слышала про уголь в ванной у кое-каких нерях, хотя благодарю Всевышнего, что ни одного такого на своей груди не пригрела. Вы так и пойдете, мистер Эндерби, с клочками бумажек по всему лицу? Я вот туточки, рядом с вашим носом, даже слово прочесть могу: «эпилептический» или что-то в таком духе. Ни себе, ни мне, никому из других жильцов вы, мистер Э., чести не сделаете, если на улицу в таком виде пойдете. Пенять на себя, очень надо!

А Эндерби заколебался. Он не рассчитывал, что придется подыскивать новое жилье – только не посреди «Ласкового чудовища». А городок все больше и больше становился спальным районом для лысых молодых людей из Лондона. В одном пабе он повстречал главу новостной компании, неумеренного любителя джина с высоким и нервным голосом. А в другом месте слышали какого-то директора по плавленому сыру: тот говорил чересчур громко и беззастенчиво. Лондон полз на юг к Ла-Маншу.

Эндерби же полз на север к вокзалу, срывая случайные слова с бритвенных порезов. Снег уже затоптали – те, кто с неискренним пылом спешил на работу в Лондон. Эндерби же семенил несмелыми шажками гавота из страха поскользнуться, зад у него все еще болел от вчерашнего падения. Рабочие поезда, стенографические поезда, чиновничьи поезда. Крупные сделки по телефону, пятьдесят гиней для них – курам на смех. Деньги на шары для гольфа. Но, думал Эндерби, они покроют полгода увеличенной квартплаты.

Подняв взгляд на цинковое небо, он увидел, как чайка-другая, взмахивая крыльями, направляются прочь от моря. Вот уже два дня он пропускал кормление чаек: он становится беспечным. Возможно, смутно думал Эндерби, он мог бы загладить перед ними вину, купив особое лакомство в «Арми энд Нэйви». Он миновал здание, заклеенное яркими плакатами. Один превозносил местный газ: улыбающийся игрушечный Всевышний по имени мистер Терм царил над своего рода теплым Святым Семейством. Пятидесятничные термы, пятидесятничная сперма. Со стороны вокзала, словно дезертируя, шагали двое в крашенных армейских

шинелях и с лицами безутешных драчунов.

– Никак не решится, мать его. Вчера дождь, сегодня снег. Завтра опять моросить будет.

Эндерби пришлось остановиться, чтобы перевести дух, сердце у него бухало молотом, словно он только что одним махом опрокинул полбутылки бренди, левой рукой он цеплялся за увенчанную снегом изгородь из бирючины. Пятидесятничная сперма моросит... Нет, нет, нет. Падает с шорохом... Строку ему сдали как карту из дозировочного автомата. Целая поэма привиделась ему вдруг в облике злобного приземистого механизма, оценивающего, выжидающего. Святое Семейство, Дева Мария, пятидесятничная сперма. Раздался свисток поезда. Надо поторапливаться.

Запыхавшись, он влетел в небольшой кассовый зал, доставая из правого внутреннего кармана бумажник. У кассы все еще стояла елка. Так неправильно: двенадцатая ночь закончилась, и день Зимнего свадебника снова запустил колесо трудового года. Эндерби приблизился к суровому беспиджачному за стойкой.

– До Лондона и обратно, – взмолился он.

Забрав сдачу вместе с билетом, он уронил шиллинг, который покатился по полу.

– Не потеряйте, мистер, – посоветовала бойкая старуха в черном. – Подзаправиться понадобится.

И загоготала, когда Эндерби погнался за сверкающим моносипедом до самого барьера, где его поймал тяжелым ботинком контролер.

– Спасибо, – сказал Эндерби.

Подобрав с пола монетку, поднимаясь с затуманенными глазами, он увидел очень ясное и голубое изображение Девы Марии за прялкой – серебряная королева в обрамлении лазури. Это не имело никакого отношения к «Ласковому чудовищу» и его Марии-Пасифае. Это касалось его мачехи.

В дрожащую плоть утробы, сурово и мерно,  
Вливался с шумом поток благочинной спермы...

Нет, не так. Ритм не тот, это же не строфы. Строфы сложились из монолога королевы в «Гамлете». Дольней, дальней, печальной. Эндерби протопал вниз по ступеням и вверх по ступеням на платформу. Поезд как раз подходил. Где-то есть рифма на «-ерно». Эндерби поднялся в вагон. Пассажиров в этот час было немного: женщины, собирающиеся биться на

январских распродажах, академического вида полицейский инспектор с чемоданом, двое очень даже похожих, рассеянно подумал Эндерби, на него самого: хорошо одетые, элегантные, нормальные. Голубка, голубь... Голуби происходят от единого праголубя... Голубь значит параклит.

– Прощу прощения? – переспросила женщина, сидевшая наискосок от Эндерби.

В купе они были вдвоем. Худая блондинка, утомленная, за сорок, элегантная, в норковой шубке-накидке и шляпке «воронье гнездо».

– Лилия, вея, себорея, – отозвался космополит Эндерби. – Диарея.

Поезд запыхтел на северо-восток с настоящей любовью к Лондону, сперма, которая будет проглочена гигантским чревом...

– Бронзовея, – громко и возбужденно возвестил Эндерби. – Гигантской Евы утробой поглощенной. Так я и знал, что Ева тут рано или поздно появится.

Подобрав сумочку и серебристо-серую пару перчаток, женщина покинула купе.

– Уходит Ева, – сказал Эндерби.

Где бумага? Ни клочка. Он не ожидал, что день получится рабочий. Чернильный карандаш у него при себе имелся. Встав, он последовал за женщиной в коридор. Она ринулась – с котячьим визгом – в следующее купе, где троица сероватых домохозяек болтала в преддверии распродажных битв. Эндерби – с уверенностью возвращающегося домой почтового голубя – двинулся напрямик в уборную.

## 5

Дрожало пространство. В него сурово и мерно,  
Гигантской Евы утробой поглощенный,  
Вливался с шумом поток благочинной спермы...

Полностью одетый, Эндерби сидел на крышке ватерклозета, покачиваясь, словно верхом на палочке-коняшке до Чаринг-Кросс. Нет, до Лондонского моста. Нет, до вокзала Виктория. Электрическая сперма низвергалась к Заступнице Побед Виктории, и Эндерби верхом. Он извлек из держателя рулон туалетной бумаги и что было мочи строчил чернильным карандашом на разделенных перфорацией квадратах. Из-под чернильного карандаша определенно рождалась песнь во славу Благословенной Девы.

Откуда взялась эта тема? Эндерби знал. Он помнил свою детскую спальню с назидательными картинками итальянских коммерческих художников: благословляющий верующих папа Пий XI в тройной тиаре; Иисус Христос с выставленным напоказ радиоактивным сердцем (для верности в него тычет божественно изящный указательный палец); святые (Антоний, Иоанн Креститель, Бернадетта); Дева Мария с нежной улыбкой и в симпатичной...

Я был никто и все, себя отринув, —  
Изящество, что так легко открыть  
В движенье тихом незнакомца-сына.

За дверью спальни стояла чаша со святой водой, высохшая в засуху мальчишеского неверия Эндерби. По всему дому, до ничейной полосы или даже протестантской земли в лавке, имелись другие чаши со святой водой, а еще распятия, гипсовые статуэтки, увядшие пальмовые листья из Святой земли, благословленные в Риме четки, пара-тройка «Агнцев Божиев», декоративные благочестивые изречения-семяизвержения (изготовленные в Дублине псевдокельтским письмом), краткие как рявканье. Таков был католицизм мачехи, импортированный из Ливерпуля: реликвии, эмблемы и агиографы, используемые как громоотводы; ее вера — всего лишь страх перед громом.

Католицизм семейства Эндерби пришел из маленькой католической общины неподалеку от Шрусбери, из деревни, которую Реформация лишила не веры, а здания церкви. И без того чахлый в отце-табачнике (пустые тарелки в Великую субботу, пьяная полночная месса на Рождество и не больше), он умер в его сыне-поэте благодаря мачехе. Теперь, более двадцати лет спустя, слишком поздно взглянуть на него свежим взглядом — на его интеллектуальное величие, на его холодную, внятную теологию. В отрочестве Эндерби вырвался из него с горькими слезами (не без помощи Ницше, Толстого и Руссо), и борьба за сотворение собственных мифов сделала из него поэта. Теперь он не мог к нему вернуться, даже если бы захотел. И даже если бы вернулся, то стал бы выискивать новообращенных, которые писали триллеры из ощущения вечного проклятия, или таких, кто, образовав эксклюзивный клуб новообращенных оксофрдианцев, делал вид, будто это церковь, и все равно не пустил бы к себе Эндерби. Такого известного апостата, как Эндерби, пришлось бы прогнать на задворки к разным диким ирландцам. А потому лучше молчать о своей вере или утрате



ее (на вопрос о вероисповедании при записи в армию Эндерби ответил «гедонист», и его заставили принимать участие в парадах Объединенной коллегии); единственной проблемой было то, что его муза молчать не желала.

Под сводом смех сгущался, бронзовея.  
Спешили червь и рыба получить  
С его груди безвестности лилею.

В конечном итоге религиозная принадлежность не имеет значения. Гораздо важнее понять, какие мифы еще сохраняют достаточную эмоциональную силу, чтобы их использовать. Поэтому Дева Мария теперь произносила свой последний триплет у ручной прялки, чуть улыбаясь в элегантной лазури:

Но вот путем голубки – дольней, дальней —  
Они ушли, чтоб горе позабыть  
Любви ненужной, горькой и печальной.

Слишком уж много любви кругом разлито, беспокойно думал Эндерби, недовольно перечитывая стихотворение. Он понимал, что помимо очевидного поверхностного мифа речь в нем о становлении поэта. На последнем куске туалетной бумаги он написал: «Всякая женщина – мачеха», а потом спустил его в унитаз. Вот это обладает универсальной ценностью! А теперь, судя по громкой темноте за стенами кельи, где на протяжении часа выбраживалось его стихотворение, он уже на вокзале. Рев морских котиков в цирке, грохот падающих ящиков, цоканье высоких каблуков по платформе, шипенье, дрожь и тряска, когда поезд – по выражению поэтов елизаветинской эпохи – испустил дух.

## Глава третья

### 1

Несколько часов спустя Эндерби сидел в величественном зале, ошеломленный напитками, блюдами и неискренними похвалами. Далеко не отборная сигара дрожала между пальцами, которые (Эндерби только теперь это заметил) он забыл оттереть пемзой. В дремоте зимнего полудня многие из слов ораторствующего сэра Джорджа Гудби проплывали мимо его ушей. По обе стороны стола двадцать с чем-то собратьев по перу кутались в клубы сигарного дыма, их лица колыхались перед Эндерби, как две веревки сохнувших трусов на ветру. В животе у него с силой била копытом и гарцевала эдакая конная статуя, символизирующая разом время и Лондон. Ему хотелось поковырять в носу. Изюм из всех жидкостей, которые он успел употребить, почему-то именно коктейль «Кровь палача» взболтался глубоко в кишечном шейкере, а после бросился назад ему в глотку, мол, попробуй. На закуску подали маслянистую телячью голову под соусом с очень свежими булочками и взбитым маслом. За ней последовали утка на вертеле (от которой Эндерби положили на тарелку самый жирный кусок), горошек и картофель в масле, едкий апельсиновый сок и густая чуть теплая подлива. Клюквенный пирог с непропеченной коркой, обильно политый заменителем взбитых сливок. Сыр.

Сыр. Эндерби улыбнулся в ответ незнакомой женщине по ту сторону стола, которая улыбалась ему. Я всегда восхищалась вашей поэзией, но увидеть вас во плоти – истинное откровение. Ну да, как же. Перррп.

– Видение чистейшей красоты, – вещал сэр Джордж. – Магическая сила поэзии преобразовать сор повседневного мира труда в ярчайшее золото.

Сэр Джордж Гудби был древним старцем, чьи видимые части были изготовлены, по всей очевидности, из кусков хорошо выделанной кожи. Еще в юности он основал фирму, носившую теперь его имя. Фирма разбогатела главным образом на топорных или непристойных книгах, за которые брезговали братья другие издательства. Пожалованный Рэмсеем Макдональдом<sup>[8]</sup> титулом баронета за вклад в распространение грамотности среди населения, сэр Джордж всегда желал внести вклад в литературу не только продажами, с юных лет он чаял стать голодающим поэтом, признанным только после смерти. Заморенные стихи он продолжал писать еще долгое время после того, как судьба приговорила его к

сколачиванию состояния, и шантажом (угрозой бойкота всеми магазинами ее тиражей) заставил одну маленькую нищенствующую фирму опубликовать его сборник, потом еще один и еще. Он оплатил все расходы по изданию, рекламе и распространению сборника, но репутация нищей фирмы была загублена. Сборники скверных виршей сэра Джорджа, запоминавшихся лишь тем, насколько они плохи, назывались «Метрические сказания волынщика», «Сон о веселой Англии», «Лепестки роз памяти» и «Оптимист поет». Разумеется, он не мог принудить людей покупать или даже читать эти ужасающие стихи, но раз в год, презентуя чек и медаль собрату-певцу (как он кокетливо его именовал), обильно приправлял свою речь ошметьями собственных творений, чем доводил слушателей до корчей от неловкости.

– Гиганты дней моей юности, – говорил сэр Джордж, – Добсон, Уотсон, мистик сэр Эдвард Арнольд, революционер Бриджес, насмешник Колверли, смельчак Барри Пейн...

Неглубоко затянувшись сигарой, Эндерби почувствовал, как дым дерет горло. Опять возникла картинка из детства: учительница в начальной школе объясняет, что такое душа и как ее разъедает грех. Мелом она нарисовала на доске большой беловатый предмет, похожий на головку сыра (душа), а потом послунявленным пальцем поставила далматиновые пятна (грехи). По какой-то причине Эндерби всегда мог ощутить на вкус ту меловую душу (вкус был как у скисшей сырой картофелины), и сейчас этот привкус ощущался очень остро.

– Душа, – уместно ораторствовал сэр Джордж, – коия есть прелестное поле для скитаний поэта, море, по которому он плывет на своей барке рифм, его возлюбленная, которой он поет. Душа для проповедника – воскресная забота, для поэта – хлеб насущный.

Его насущная сырая картофелина... Эндерби почувствовал, что в животе у него занимается урчание.

– Позвольте навязать вам, – кокетливо засиял сэр Джордж, – мой собственный сонет, весьма подходящий для данного случая.

И начал декламировать – высоким голосом и на одной-единственной монотонной ноте – стихотворение из четырнадцати строк, которое было чем угодно, только не сонетом. Там имелись ярко-зеленые луга и лучезарное солнце со сверкающими лучами, а еще – по какой-то причине – розовогрудая земля. Эндерби, поглощенный попытками подавить шумы собственного тела, улавливал только отрывки изумительно скверного стихотворения и одобрительно кивал, чтобы показать, что считает, что сэр Джордж выбрал очень удачный пример очень низкопробного

рифмоплетства. Когда гнусаво, как из волынки, выдавилась, наконец, жалкая последняя строка, Эндерби почувствовал, что ветры надвигаются очень бурные, поэтому постарался замаскировать шум смехом.

– Ха, ха (перрпф), ха!

Сэр Джордж был скорее удивлен, чем недоволен. Секунд пять он изумленно пялился на Эндерби, потом, дрожа, пробежал глазами машинописный текст речи, точно боялся, что туда закралась двусмысленность копрологического толка. Удостоверившись, что все в порядке, он, подрагивая выдубленными брылями, хмуро глянул на Эндерби, потом сделал глубокий вдох, намереваясь продолжить пространную речь. Едва он открыл рот, как Эндерби – точно по злополучной подсказке – выдал:

– Бррбррпккрк.

– Самая удачная и лаконичная критика, какую мне доводилось слышать, – сказал Шем Макнамара.

У него было буревое ирландское лицо о двух подбородках, космы на голове и черная рубашка (чтобы сэкономить на стирке). Если Эндерби в своем повседневном одеянии поэта выглядел убого, то этот писатель смотрелся нищим бродягой, привыкшим спать в амбарах и продираться через изгороди. Усталые бледные лица других гостей (их Эндерби различал лишь смутно) задержались от смешков. И внезапно сам сэр Джордж как будто выдохся. Он слабо улыбнулся, нахмурился, открыл рот, будто от немой радости, снова нахмурился, сглотнул и сказал невпопад:

– И как раз по этой причине я с особым удовольствием награждаю нашего собрата-певца... э... э... Эндерби золотой медалью Гудби.

Эндерби встал под аплодисменты, достаточно громкие, чтобы заглушить три пулеметные очереди из кишечника.

– И чеком, – продолжил сэр Джордж с ностальгической тоской по нищете поэта, – который очень, очень мал, но, хочется надеяться, на месяц-другой избавит его от тягот.

Забрав свои трофеи, Эндерби пожал сколько-то рук, притворно поулыбался, потом снова сел.

– Речь! – потребовал кто-то.

Эндерби снова встал (на сей раз очередь прозвучала чуть глуше) и только тут сообразил, что понятия не имеет, что предписывает в таком случае этикет. Как обращаться к сэру Джорджу? А к собравшимся? Следует начать со слов «господин председатель»? А тут вообще есть председатель? А если председатель сэр Джордж, надо ли говорить что-то помимо «господин председатель»? Или просто сказать: «Сэр Джордж, леди и

джентльмены»? Но тут он заметил в полумраке некоего человека, на груди которого поблескивала должностная цепь. Может, это глава какого-то муниципалитета или даже сам лорд-мэр Лондона. Что следует сказать? «Ваша честь»? К счастью, он вовремя углядел, что это какой-то холоп, отвечающий за вино. Как нервно улыбающийся Эол, с трудом сдерживая ветры, Эндерби громко и четко произнес:

– Сент-Джордж<sup>[9]</sup>. – Опять смешки. – И дракон, – пришлось теперь добавить ему. – Британский кимвал, – продолжал он, с ужасом глядя на представший перед ним неоновыми огнями на дальней стене орфографический ляп. – Британский кимвал, что позвякивает глухими басами, когда в нас нет ясности.

Ответом ему стало одобрительное ерзанье: речь Эндерби произнесет краткую и юмористическую.

– Как ее имеют или не имеют большинство из нас, – с отчаянием продолжил Эндерби. – По тому или иному вопросу. Включая меня.

Он увидел, как глаза у сэра Джорджа превращаются в черные дыры, точно это он, Эндерби, болтается на традиционной балке над трактиром.

– Ясность, – повторил почти в слезах Эндерби, – красное вино для заливающихся соловьем. А потому... – Он сам вылупился, придя в ужас от того, что вырывалось у него изо рта... – Я только рад отдать этот чек святому Георгию на нужды благотворительности. Что до золотой медали, он сам знает, что с ней делать.

Он готов был умереть от потрясения и конфуза от собственных слов, но его неостановимо, по убийственной инерции несло.

– Да, на сор повседневного мира труда, который наш собрат-певец Гудби так уместно не одобряет. А потому, – он словно бы перенесся в армию и читал солдатам лекцию о «Предназначении и образе жизни британцев», – мы с надеждой смотрим в будущее, когда мир сбросит черную тень и железная пята зла со шпорой свастики не будет больше попинать лицо простертой свободы, в будущее реальной демократии, честной платы за день честного труда, адекватного здравоохранения и толики мира, голубем витающего над закатными днями стариков. И с этими верой и устремлениями мы движемся вперед. – Он обнаружил, что не в состоянии остановиться. – Вперед к эпохе, когда мир освободится от тени угнетения.

Сэр Джордж поднялся и нетвердым шагом пошел к выходу.

– Ко дню честного труда, – слабым голосом повторил Эндерби, – за честную зарплату. Честную зарплату для всех, – с сомнением пробормотал он.

Сэр Джордж вышел за дверь.

– На это я уповаю, – с несчастным видом закончил Эндерби.

Собрание тут же забурило. Двое поэтов разобиженно набросились на Эндерби.

– Если вам чертовы деньги не нужны, – сказал Шем Макнамара, – недурно было бы вспомнить, что другим нужны и даже очень. Включая меня, – издевательски повторил он слова самого Эндерби идохнул на него луком, что было совершенно непостижимо, ведь лук в подаваемые блюда не входил.

– Я же не нарочно. – Эндерби чуть не плакал. – Сам не знаю, что плел.

– Погубить нас желаете? – спросил издатель Эндерби, едва не срываясь на визг в конце фразы. Это был смышленный молодой человек из Ньюпорта. – В хорошенькую вы калошу сели, приятель, это уж как пить дать!

Подошел и крепко взял Эндерби за лацканы человечек с усами, как у Киплинга, с такими же очечками-жуками и тяжелой цепочкой часов.

– Я Утесли, – объявил он. Короткими танцевальными шажками он потащил Эндерби прочь от стола, все еще крепко держа за лацкан. Утесли многократно покивал, перестал кивать, наострил ухо, удовлетворенно кивнул, а потом просто кивнул, пожевав губами. – Очень уж жилистая утка, – заметил Утесли. – Вы меня знаете. Я во всех антологиях. Так вот, Эндерби, скажите-ка мне, скажите со всей откровенностью, что вы в настоящее время поддельваете?

– Просто пишу, сами знаете, как это бывает, – ответил Эндерби, пытаясь вспомнить, кто такой Утесли. С возрастающим беспокойством он слышал, как у него за спиной в мелких группках вспыхивают дебаты о его речи и ее последствиях для розничной книготорговли.

– Можно было бы предположить, – сказал Утесли, теребя лацканы костюма Арри, как коровье вымя, – рискнуть предположить, наверное, что вы пишете. – Он хмыкнул, сглотнул, кивнул. – Ну и что же, Эндерби? Что вы пишете? Расскажите-ка «мне, мене-текел-фарес, о Фаросском маяке». Ловко я Джойса ввернул, да? Тот еще был мифотворец, а?

– Ну, – протянул Эндерби и от нервов выложил целиком подробный синопсис «Ласкового чудовища».

– И зверь у вас – это на самом деле первородный грех, да? – догадался Утесли. – Без первородного греха нет цивилизации и культуры, в этом дело? Неплохо, неплохо. А название, давайте-ка еще послушаем название. – Отпустив лацканы, он нашел в кармане жилета огрызок карандаша, облизнул кончик, достал пачку сигарет, горестно с сожалением встряхнул и

записал на крышке заголовок Эндерби. – Очень даже недурно, – повторил он. – Бесконечно обязан.

И ушел, кивая. Эндерби с грустью посмотрел, как он втерся в группку именитых поэтов, которые не считали ниже своего достоинства цинично сожрать дармовой ланч, поэтов с псевдонимами вроде П.С. ффолиотт, Питер Питтс, Альберт Досмерти-Колотель, Руперт Мавзлей и тому подобное. За предобеденным шерри они по большей части бормотали ему: «Отличная работа», но теперь он был предоставлен самому себе и своим ветрам, лишенный не только общества, но также медали и чека. Совсем никчемная вышла поездка, правду сказать.

## 2

– Мистер Эндерби? – Чуть запыхавшаяся дама премило переводила дух. – Ох, слава богу, я успела!

– Я знал, – ответил Эндерби, – что сэр Джордж догадается, что все это шутка. Прощу, передайте ему мои извинения.

– Сэр Джордж? Ах да, понимаю, о ком вы. Извинения? Не понимаю.

Ей было, вероятно, около тридцати: модно раздутые ноздри и лебединая шея модели. На голове изящно держалась шляпка от Кардена из бежевого велюра, костюм от того же модельера со свободным жакетом и лишь намеком на клеш в баске ладно облегал фигуру. На плечи наброшена шубка из оцелота. От нее так и исходили волны сдержанного шика. Какой аромат чистоты («Мисс Диор»), с глубоким сожалением подумал Эндерби, какой прозрачно-чулочный гламур. Лицо, решил он, лишено всяческой поверхностной чувственности, никакой тебе соблазнительно оттопыренной нижней губы, в холодных, по-кошачьи зеленых глазах светится ум. Высокий лоб затенен полями шляпки. Эндерби подтянул узел галстука и, разгладив нагрудные карманы, сказал:

– Извините. – А потом: – Я думал. То есть...

А она в ответ:

– О!

Несколько секунд они стояли, глядя друг на друга, под светящимися вывесками пассажа отеля, утопая ногами в ковре цвета бургундского вина.

– Э... Прежде всего мне бы хотелось сказать, что я искренне восхищаюсь вашим творчеством. – Говорила она с интонацией человека, ожидающего недоверчивого фырканья. Выговор у нее был мягкий, хотя согласные она произносила четко, точно в микрофон, и вообще в нем

чувствовалась легкая вибрация, свойственная шотландцам высших классов. – Я писала на имя ваших издателей. Давным-давно. Сомневаюсь, что письмо вообще могло до вас дойти. Если бы оно дошло, уверена, вы бы ответили.

– Да, – согласился взволнованный Эндерби. – О да, ответил бы! Но, возможно, они переслали его на мой старый адрес, поскольку я забыл сообщить им новый, да и почтовой службе, если уж на то пошло. Чеки, – продолжал лепетать Эндерби, – обычно идут прямо в мой банк. Не знаю, зачем вам все это говорю.

Она стояла в позе модели, слушала спокойно, приоткрыв губы, сумочка свисала с правого локтя, оперчаточенные указательный и большой пальцы левой руки неплотно охватывали средний палец правой без перчатки.

– Мне ужасно жаль, – сказал смиренный Эндерби. – Наверное, поэтому я его не получил.

Покончив со спокойным слушаньем, она разом стала деловой.

– Видите ли, у меня было приглашение на этот ланч, но я опоздала. Как, по-вашему, мы не могли бы, – предложила она с движением на грани не-движения, апофеозом пританцовывания джигги рабочей девчонки в очереди на автобус зимним днем, а потому бесконечно женственным, – посидеть где-нибудь несколько минут, то есть если у вас найдется время? Какая же я глупая, что не представилась! – Рука в перчатке ударила по губам жестом *mea culpa*<sup>[10]</sup>. – Я Веста Бейнбридж. Из «Фем».

– Откуда?

– Из «Фем».

– Что это такое? – спросил Эндерби с бесконечным и подозрительным тщанием. Ему послышалось (хотя он сомневался, что такое возможно) что-то вроде «Флегма». Интересно, чем занимается организация (если это организация) с таким наименованием?

– Да, конечно, понимаю. Вы, скорее всего, про него не слышали, правда? Это женский журнал. И я заведу там разделом очерков. Так не могли бы мы?.. Для чая еще слишком рано, как по-вашему? Или нет?

– Если бы вам захотелось выпить чаю, – сказал галантный Эндерби, – я был бы только счастлив вас угостить.

– О нет! – откликнулась Веста Бейнбридж. – Вы должны выпить его со мной, понимаете, потому что счет тогда пойдет по статье представительских расходов? А это деловая встреча, понимаете? Связанная с «Фем».

Однажды, в бытность его нищим солдатом, Эндерби угостила чаем с



тостом с яйцом пашот на сайде и песочным коржиком добрая старушка в одном эдинбургском ресторане. Но чтобы кто-то столь гламурный, столь очаровательный... О таком он даже никогда не думал, даже не мечтал. Он был потрясен и испуган разом.

– Вы, случайно, не из Эдинбурга? – спросил он. – Что-то в вашем голосе...

– Из Эскбэнка, – ответила Веста Бейнбридж. – Удивительная чуткость! Ну конечно, вы же поэт. Поэты всегда способны такие вещи улавливать, верно?

– Если, как вы говорили, вам действительно нравятся мои стихи, это мне следует приглашать на чай вас, а не наоборот. Это меньшее, что я могу, – сказал щедрый Эндерби, ощупывая полкроны в кармане штанов Арри.

– Идемте, – сказала Веста Бейнбридж с призраком жеста, будто взяв Эндерби под локоть. – Я правда восхищаюсь вашим творчеством, истинная правда! – настаивала она.

Уверенно цокая высокими каблуками, она повела его мимо изысканных бутиков, где продавали цветы и ювелирные украшения, мимо агентства авиапутешествий, где деловито говорили по телефонам о рейсах на Нью-Йорк и Бермуды, мимо безобразных и богатых гостей в коконе из зачарованного винного снега под ногами, аромата духов, рассеянного, пыльно-мягкого света утонченного оттенка лучшего золотого бордо. Тут каждый вдох, каждый шаг, бережливо думал Эндерби, шестипенсовик стоит, никак не меньше. Потом они вступили в просторный зал, заставленный полыми кубами бисквитной мягкости, в которых развалились тепло оподушеченные посетители. Звенел смех, звенело столовое серебро. Эндерби с ужасом почувствовал, что кишечник вот-вот выдаст свой комментарий происходящему. Он поднял было взгляд на барочный потолок со множеством толстозадых херувимов. Не помогло. И вот он уже сам утонул в кресле. Севшая напротив Веста Бейнбридж явила утонченную линию бедра, великолепную отливку лодыжки. Подошел принять заказ официант с огромным подбородком и впалыми щеками. Будучи шотландкой, она заказала внушительный набор снеди: тосты с анчоусами, сэндвичи с яйцом, сдобные булочки и пирожные, китайский чай с лимоном.

– И вы сумеете пообедать после такого чаепития? – спросил Эндерби.

– О да! – откликнулась Веста Бейнбридж. – Не могу потолстеть, как бы ни старалась. Наверное, из-за лимона в чае. Не для похудения, а потому что мне так нравится. Очевидно, – добавила она.

– Но ведь вы и так само совершенство, – выдал избитый комплимент

Эндерби, которому не оставалось ничего иного.

Внезапно он увидел себя со стороны: завсегдатай парижских бульваров Эндерби, остроумный с женщинами, изящный в лести, с блеском в надменном взгляде вкушает чай. Одновременно наружу рвались ветры – так рвется из рук нашкодивший котенок. Рвется на свободу. Свободен выпить чаю. И получить чай, не обременяясь.

– Так в чем, если позволите спросить, заключается моя деловая встреча с «Флегмой»?

– Ну не смешно ли? Так еще Годфри Уэйнрайт, шутя, его называет. Он нам обложки делает, понимаете? «Фем». Возможно, не слишком удачное название. Но, видите ли, рынок перенасыщен журналами для женщин: «Феминократ», «Домохозяйка», «Лилит», «Гламурная киска». Прямолинейные названия со словом «женщина» отработали давным-давно. Так трудно подобрать что-то новое. Уверена, вы меня понимаете. Но «Фем» не так уж и плохо, верно? Коротко и мило, звучит по-французски и чуточку шаловливо, я права?

Эндерби воззрился на нее настороженно. По-французски и чуточку шаловливо, да?

– Да, – произнес он вслух. – Но как сюда вписываюсь я?

– Не слишком хорошо, но и не слишком плохо. – Оба утверждения она произнесла с придыханием. Возможно, не самая искренняя из женщин.

Не успела она ответить на его вопрос, как подали чай. Официант расставил блюда на резном, с львиными лапами низком столике. Из-под серебряных крышек поднимался пар, крошечные пирожные сочились сливками. Он выпрямился, поклонился, издевательски улыбаясь, удалился. Веста Бейнбридж разлила чай по чашкам.

– Я почему-то решила, что вы такой предпочитаете: без сахара, без молока и с лимоном. Ваши стихотворения, скажем так, чуточку аскетичны, если я верно подобрала слово.

Эндерби кисло посмотрел на кислую чашку. Правду сказать, он предпочитал мачехин чай, но Веста Бейнбридж заказала, не спросив у него.

– Очень мило, – сказал он вслух, – как раз то, что надо.

За еду Веста Бейнбридж принялась с большим аппетитом, показав мелкие ровные зубки, когда впилась в тост с анчоусами. Это расположило к ней Эндерби: он любил смотреть, как женщины едят, и готовность есть со вкусом словно бы умеряла ее художавое совершенство. Но какое у нее право иметь такой аппетит при такой-то фигуре? Ему захотелось пригласить ее на ужин – сегодня же вечером, – чтобы посмотреть, как она возьмется за суп минестроне и свиные отбивные. Она нагоняла на него

легкий страх.

– А теперь, – сказала Веста Бейнбридж; розовый кончик языка появился, подхватил крошку тоста с губы и шмыгнул назад. – А теперь хочу, чтобы вы знали, что я восхищаюсь вашим творчеством и нынешнее предложение – исключительно моя собственная идея. Правду сказать, она встретила некоторое сопротивление, поскольку «Фем», по сути, массовый журнал. А ваши стихи, как вы бы с гордостью признали, не для широких масс. Нет, конечно, они не непопулярны, просто малоизвестны. Поп-певцы известны, и телеведущие известны, и диск-жокеи известны, а вы нет.

– И что это за штуки? – спросил Эндерби. – Поп-певцы и так далее?

Глянув на него недоверчиво, она убедилась, что его недоумение неподдельное.

– Боюсь, – продолжил Эндерби, – после войны я в целом отгородился от мира.

– Разве у вас нет радиоприемника или телевизора? – спросила Веста Бейнбридж, ее зеленые глаза расширились. Он покачал головой. – Разве газеты вы не читаете?

– Читал раньше кое-какие воскресные. Ради рецензий. Но они наводили такую тоску, что пришлось бросить. Рецензенты как будто, – он нахмурился, – такие *высоколобые*, если понимаете, о чем я. Они словно бы запирают нас, писателей, вставляют в рамочку. Они как будто все про нас знают, а мы про них ничего. Помнится, была очень достойная и компетентная рецензия на один мой сборник, написанная человеком, надо полагать, очень хорошим, но было очевидно, что, будь у него время, мои стихи он написал бы гораздо лучше меня. Сразу чувствуешь себя таким незначительным, но ведь на такое нельзя обращать внимание, если вообще хочешь что-то сделать. Поэтому я склонен отгораживаться. Ради работы. Все кажутся почему-то такими *умными*, если понимаете, о чем я.

– И да, и нет, – энергично ответила Веста Бейнбридж.

Пока она расправилась со всеми тостами с анчоусами, пятью сэндвичами с яйцом, парой пышек и одним пирожным, все равно умудрялась выглядеть эфемерной и холодно-невозмутимой, как гордая вершина. Эндерби же, который из-за изжоги по-мышинному грыз кусочек хлеба с кружком яйца, чувствовал себя тучным и потным, и что изо рта у него пахнет, и что кишечник полон, как ведро золотаря.

– А я себя незначительной не чувствую, – сказала Веста Бейнбридж, – но я просто ничто в сравнении с вами.

– Но вас никто не заставляет чувствовать себя незначительной, правда? Я хотел сказать, вам надо только на себя посмотреть, верно? – произнес он

это бесстрастно, хмурясь.

– Для человека, который отгородился от мира, вы неплохо справляетесь. На мой взгляд, – продолжала она, разливая еще чаю, – для поэта очень неразумно так поступать. В конце концов, вам нужны образы, темы и так далее, разве нет? Вы же должны получать их из внешнего мира.

– Образов и в полфунте новозеландского чеддера достаточно, – твердо и со знанием дела возразил Эндерби. – Или в воде от мытья посуды. Или, – добавил он еще более авторитетно, – в новом рулоне туалетной бумаги.

– Бедняга, – сказала Веста Бейнбридж. – Так вот вы как живете?

– Все пользуются туалетной бумагой, – возразил Эндерби, возможно, уже не столь догматично.

Очень высокий мужчина в очках за соседним столиком открыл было рот, точно хотел оспорить это утверждение, но передумал и вернулся к своей вечерней газете. «Поэт отказывается от медали», – гласил крохотный заголовок, который успел углядеть Эндерби. Какой-то еще чертов дурак распинается, какая-то еще игрушечная труба зовет на битву.

– И вообще, – сказала Веста Бейнбридж, – думаю, для вас великолепно было бы приобрести аудиторию пошире. Не хотите попробовать, скажем, полгода, по стихотворению в неделю? Желательно в форме прозы, чтобы никого не обидеть.

– Я думал, люди на поэзию не обижаются, – возразил Эндерби. – Я думал, они ее просто презирают.

– Ладно, но как вам мое предложение? – Вилкой она разбила на части макароны и, поедая кусочки, добавила: – Стихи должны быть, я бы сказала, и, надеюсь, это подходящее описание, о житейских мелочах. Сами понимаете, про повседневные вещи, которые заинтересовали бы среднюю женщину.

– Сор повседневного мира труда, – процитировал Эндерби, – преображенный в чистейшее золото. Думаю, справлюсь. В работе по дому и тряпках для мытья посуды я, пожалуй, разбираюсь. А еще в щетках для уборной.

– Боже ты мой, – вздохнула Веста Бейнбридж, – да у вас, похоже, просто одержимость клоакой. Женский пол большие дозы реальности не переносит. Желательно любовь и мечты, а еще младенцы – без клоачной одержимости. Загадка звезд тоже была бы кстати, особенно увиденная в садике при муниципальном доме. Возможно, брак.

– Скажите, – попросил Эндерби, – вы мисс Кембридж или миссис?

– Не Кембридж, а Бейнбридж. Не «Флегма», а «Фем». Миссис. Почему вы спрашиваете?

– Должен же я как-то вас называть, верно?

Она как будто наконец наелась, и Эндерби достал мятую пачку сигарет.

– Я буду курить свои, если вы не против, – сказала она и достала из сумочки пачку дешевых корабельных сигарет, и не успел Эндерби найти в своем коробке неиспользованную спичку (по давней неведомой привычке он сохранял использованные), она щелкнула перламутровой зажигалкой. Ее широкие ноздри выпустили две симпатичные сизые струи.

– Полагаю, ваш муж служит на флоте, – догадался Эндерби.

– Мой муж мертв. Теперь ясно, насколько вы взаправду отрезаны от мира. Кажется, все слышали про Пита Бейнбриджа.

– Извините. Мне очень жаль.

– За что вам извиняться? За то, что он мертв, или за то, что вы никогда про него не слышали? Неважно, – сказала вдова Бейнбридж. – Он погиб в аварии четыре года назад, разбился на ралли в Монте-Карло. Я думала, это всем известно. В газетах писали, это большая потеря для мира гонок. Он оставил по себе красивую молодую вдову, которая замужем пробыла только два года, – добавила она с толикой насмешки.

– Это так, – серьезно сказал Эндерби. – Совершенно определенно так. Я про красивую. Сколько?

– Сколько что? Сколько он мне оставил или насколько я его любила? – Она как будто внезапно устала, наверное, от переедания.

– Сколько я буду получать за стихотворение?

– Мистер Дик<sup>[11]</sup> еще всех нас обставит, – вздохнула Веста Бейнбридж и села прямее. Смахнув с колен невидимые крошки, она сказала: – Две гиней за стихотворение. Это немного, но больше мы не потянем. Понимаете, мы печатаем мемуары поп-певца, конечно, не очень длинные, потому что ему всего девятнадцать, – но они, уж поверьте, обходятся нам в копеечку. К тому же их еще надо за него писать. Однако тираж они нам поднимут, мягко говоря. Если такой роскошный гонорар вам подходит, я пришлю вам контракт. И несколько прошлых номеров «Фем», чтобы вы поняли, что он из себя представляет. Пожалуйста, помните, что словарный запас у наших читательниц не очень обширный, поэтому не бросайтесь заковыристыми выраженьями вроде «орифлама» или «мажоритарный округ».

– Спасибо, – ответил Эндерби. – Я правда очень благодарен, что вы обо мне такого мнения. Вы действительно очень добры.

Он тыкал в пепельнице спичкой, ломая окурки, – для этого требовалось сидеть, скорчившись, на самом краешке кресла, и миссис

Бейнбридж открывался вид на его лысую макушку. Теперь он поднял взгляд. Глаза за очками были довольно влажные.

– Послушайте, – улыбнулась она, – вы не верите, что мне нравятся ваши стихи, да? Хорошо, я даже наизусть парочку знаю.

– Почитайте, – взмолился Эндерби.

Сделав глубокий вдох, она очень ясно, но довольно монотонно продекламировала:

Мечта, о да, – но не для всех одна.  
Мысль, ткавшая ее, ткала умело,  
Гармонией прекрасною все пело, —  
Что нота, то знакома нам она.

– Хорошо, – сказал Эндерби, – я впервые взаправду слышу....

Во тьме глубокой гордость не смирилась  
Тех вод, что сточной могут стать дырою,  
Но океан пел рыбам и героям,  
Пока золотари не появились.

– Замечательно, – сказал Эндерби. – А теперь сестет. – Звук собственных стихов привел его в возбуждение.

Миссис Бейнбридж уверенно продолжила:

«Wachet auf!»<sup>[12]</sup> – задорно кричат петухи во дворах,  
И мирные доли под солнцем невинно светлеют.  
Пусть ласточки свили гнездо на соборных часах,

Но утро настало – ведь птицы же лгать не умеют.  
Ключи тяжело заскрипели во ржавых замках,  
И люди теснятся вокруг очагов все бодрее.

– Пожалуйста, – отдышалась она. – Но, правду сказать, я понятия не имею, что это значит.

– А значение не так уж важно. Я удивлен, что сонет вам понравился. Я не назвал бы его женским стихотворением.

Внезапно сонет словно бы обрел свое место в реальном мире: кругом заморские бизнесмены читают финансовые газеты, аромат «Мисс Диор», шум Лондона за стенами отеля, только и ждущего, чтобы наброситься на поэта. В ее устах стихотворение обрело применение и весомость.

– А что, собственно, вы подразумеваете под женским стихотворением? – спросила миссис Бейнбридж.

– Для вас, – с обезоруживающей искренностью ответил Эндерби, – что-то помягче, но более элегантно, без такой суровости, мысли и исторических реалий. Понимаете, этот сонет про Средние века и приход Реформации. Ласточка в сестете – не просто ласточка, есть подвид ласточек, которые называются «мартин». В последних шести строках подразумеваются Мартин Лютер и роспуск монастырей. Все становятся сами по себе, исчезают общая теология и общие точки соприкосновения, и невозможно определить, который час, потому что общую традицию выхолостили. Уже нет ничего надежного и ничего таинственного.

– Понимаю, – отозвалась Веста Бейнбридж. – Выходит, вы католик.

– Нет, нет, – запротестовал Эндерби. – Я не католик, в самом деле нет.

– Как скажете, – улыбнулась Веста Бейнбридж. – Я и с первого раза вас услышала.

Протестант Эндерби усмехнулся и замолчал. Пришел со счетом официант, мягко, но горестно жуя губами.

– Мне, – велела она, и банкноты зашуршали в ее сумочке, как скворчит на сковороде свиной жир. Она оплатила счет и на чай дала по-женски, то есть скромно.

– Я бы пригласил вас пообедать со мной сегодня вечером, но только сейчас понял, что не захватил с собой достаточно денег. Понимаете, я ожидал, что сразу после ланча уеду. Ужасно жалею об этом.

– Незачем, – улыбнулась Веста Бейнбридж. – Я уже приглашена. Ресторанчик в Хэмпстеде. Но очень мило было с вашей стороны предложить. Ну... – Она посмотрела на свои крошечные часики с крышкой. – Боже ты мой, сколько времени прошло? Куда мне писать?

Достав блокнотик, она застыла с карандашом наготове, чтобы занести в анналы продиктованное Эндерби. Эндерби продиктовал. Сейчас, выведенный чопорно этой тонкой рукой, адрес показался вульгарным и даже комичным: Фицджерберт-авеню, дом 81. Он попытался скрыть от нее шумы спускаемой воды в туалете, резвящихся среди рукописей мышей, перезвона молочных бутылок в коросте засохшего молока.

– Хорошо. – Она закрыла блокнот. – Теперь мне пора.

Пристроив на плечах оцелота, она щелчком закрыла сумочку. Эндерби

встал. Встала и она.

– Было ужасно приятно с вами познакомиться. Нет, так не пойдет. Истинная привилегия, честное слово. А теперь мне правда пора лететь. – Она попрощалась неожиданным рукопожатием – движением от самого локтя. – Не трудитесь провожать до двери.

А после ушла, подтянуто элегантно и быстро ступая по ковру, как по натянутому канату. В первый раз Эндерби уловил намек на цвет ее волос, связанных в высокий узел на затылке, – они были цвета монетки в один пенни. Отвернувшись со вздохом, он увидел, что на него смотрит официант. Пантомимой (по-лягушачьи растянутый рот, опущенные уголки губ, легкое пожатие плеч) официант дал понять, что (а) она несомненно элегантна, но слишком худа, (б) что она ушла на встречу с кем-то красивее Эндерби, (с) что женщины по природе своей не склонны к щедрости, (д) что жизнь злая штука, но всегда остается утешение философией. Эндерби со значением кивнул, мол, поэту привольно среди людей всех классов, а потом с радостью сообразил: он снова один и свободен. Что и ознаменовали вырвавшиеся наконец на волю ветры.

### 3

Домой Эндерби тем вечером попал поздно. Хотя его извращенно независимая душа (сознательный Эндерби шокированно глазел по сторонам) отвергала сладости признания, он чувствовал, что они с Лондоном достигли большего понимания, чем он считал бы возможным, карябая днем раньше бумагу и голые ноги. Элегантная и светская женщина восхищается его творчеством и говорит об этом открыто. Губы, которые лобзал известный автогонщик, зубы которого обыкновенно сверкали от вспышек телекамер, произносили строки из «Революционных сонетов» в месте, богатом ароматами, в месте, чьи обитатели были превыше утешения поэзией. Бродя по улицам, Эндерби ощущал беспокойство и смутную тягу к приключениям. Здесь снег давно уже исчез, но его привкус в воздухе резко отдавался с самой дальней извилины реки. Лондон тосковал по дням газовых рожков, гусей, продаваемых по дешевке под конец базарного дня среди хриплых голосов кокни, Шерлоку Холмсу на Бейкер-стрит, вдове в Виндзоре и миру, в котором все спокойно. Нет, конечно же, это из «Папа пишет»<sup>[13]</sup>. Эндерби печально усмехнулся, стоя у музыкального магазина и вспоминая катастрофическую лекцию о викторианской литературе, которую однажды прочел для Женского



института. Беда случилась из-за спонтанной подстановки звуков, которую его слушательницы пропустили и не поняли фонетического феномена. Зато приписанная Диккенсу «Повесть о двухгрудых» показалась леди Феннимор сущей наглостью. Никогда больше. Никогда, никогда больше. В уединении творческого сортира много безопаснее. Однако этим вечером жажда приключений была слишком сильна. Но что в наши дни считать приключением? Он смотрел в витрину магазина, точно искал в ней ответа. С обложек пластинок на него издевательски лыбились юные оболтусы: обезьяньи лбы, цепкие пальцы на струнах гитар, рты раззявлены песней молодости. Эндерби слышал про современные начальные школы и теперь предположил, что эти пустоглазые монстры как раз их конечный продукт. Хорошо же, за две гинеи в неделю он станет служить миру, которому служат эти болтливые похабники. Как там назывался журнал? «Флим» или «Флам», или еще как-то. Совершенно точно не «Флегма». Он попробовал подставить в заданную рамку согласных различные гласные. Но через дверь от магазина сети сэра Джорджа Гудби плакат наставил его на путь истинный: «Эксклюзивно для «Фем», ТОЛЬКО ДЛЯ ВАС Ленни Биггс расскажет историю своей личной жизни. Заказывайте СЕЙЧАС». Имелась и картинка с Ленни Биггсом: лицо мало чем отличалось от прочих в пантеоне, который только что созерцал Эндерби, хотя, возможно, больше пристало бы бабуину, чем мартышке, и зубы явно вставные, как у самого Эндерби, что не мешало их обладателю давиться от смеха над миром.

Эндерби увидел, как мужчина в вязаной шапке швыряет упакованные в обертку пачки в фургон с надписью крупными буквами «ГОДНЫЕ КНИГИ ОТ ГУДБИ». Фургон презрительно отъехал и нагло вклинился в поток машин. Так значит, сэр Джордж уже перешел к ответным мерам? Все сборники стихов Эндерби будут сняты с продажи, да? Что за мелочный человечико!

Эндерби вошел в магазин и с унынием увидел, что покупают главным образом книги по садоводству. Над грудями романов-бестселлеров улыбались студийные портреты ухоженных моложавых авторов. Эндерби захотелось бежать: это было еще хуже, чем читать воскресные рецензии. Но последней каплей в чашу его невзгод явилось понимание, что он зря мысленно порочил сэра Джорджа: два захватанных сборника Эндерби хандрили на непосещаемых полках поэзии. Он не заслуживает внимания этого богатого сэра, он слишком жалок даже для низости ответного удара. Ну и ладно. Внезапно его взгляд упал на фамилию Утесли, и Эндерби испытал укол боли в груди, равно как и признаки надвигающейся диспепсии. Во всех антологиях, говорил он. Эндерби сейчас посмотрит.

Эндерби пролистал «Поэзию сегодня», «Копилочку современных стихов», «Лучшие поэты современности», «Они тебе поют, отрада для солдата» (антология, составленная генерал-лейтенантом Фиппсом, заместителем председателя, удостоенным ордена за выдающуюся службу и так далее, шестьдесят тысяч экземпляров), «Внутренние голоса» и другие сборники и обнаружил, что во всех них Утесли представлен следующим образчиком безыскусной лирики:

«Я не любим, – он говорил, —  
И мне здесь места нет?»  
Она, прикрыв глаза, без сил, —  
Ни «да», ни «нет» в ответ.

«Уйду, скорбя, но скорбь мою  
И муку без следа  
Я утоплю в крови в бою...»  
Она ж – ни «нет», ни «да».

С землей сырою обручен,  
В чужом краю убит,  
Он смежил очи вечным сном...  
А что ж она? Молчит!

Эндерби горько поднял взгляд от десятой антологии, от десятой страницы с одним и тем же стихотворением. И ни в одной антологии не нашлось ничего из-под пера Эндерби.

Из правого кармана штанов Арри Эндерби вытащил горсть монет и, пыхтя, пересчитал: двенадцать и девять пенсов. Насколько он знал, в бумажнике у него одна фунтовая банкнота. Направляясь к двери, он, невнятно бормоча вслух, пересчитал снова. Молодой продавец у двери, на которого он наткнулся, охнул:

– Сэр! Ничего не понравилось, сэр?

– Книги, – с преждевременным пьяным косноязычием откликнулся Эндерби, – пустая трата времени и чертовых денег.

Он ушел, распрощавшись с Гудби и его присным, уж точно не любимчиком гудби мира сего. Практически напротив книжного нашелся паб, где в старомодных, бутылочного стекла витринах уютно перемигивались, точно на рождественской открытке, цветные лампочки.

Войдя в общий зал, Эндерби заказал виски.

Войдя в общий зал, Эндерби заказал виски. Дело было несколько часов спустя и в другом пабе. Не во втором и не в третьем, а где-то ближе к десятому или к двенадцатому. В целом, решил благожелательный и покачивающийся Эндерби, вечер получился недурной. Он познакомился с двумя очень толстыми нигерийцами с широкими коварными лукавыми улыбками и множеством угрей, нигерийцы пригласили его к себе на родину писать эпическую поэму в честь ее независимости. Он познакомился с любителем «Гиннеса» на деревянной ноге, которую тот предлагал открутить на потеху Эндерби. Он познакомился с главным старшиной королевского флота, который из самых что ни на есть дружеских чувств хотел подраться с Эндерби, а когда Эндерби вежливо отказался, подарил ему две пачки дешевых корабельных сигарет и сказал, что Эндерби его разлюбезный друг. Он познакомился с остеопатом из Сиама, у которого была коллекция бойцовых рыбок. Он познакомился с накачавшимся пуншем громилой, который сказал, что у него видения, и предложил увидеть одно за пинту. Он познакомился с агрессивно жующим человечком, чем-то похожим на Утесли, который клялся и божился, что шекспировские пьесы написаны сэром Уильямом Ноллисом, управляющим королевского двора. Он познакомился с сапожником, который знал Ветхий Завет на иврите; этот экзегетик-любитель не доверял библейским исследованиям после 1890 года. Он встречал, видел или слышал еще многих других: худую женщину, которая бесконечно разговаривала с высунувшей язык немецкой овчаркой; мужчину со змеями, который глотал собственную флегму («Фем», «Фем», запомни, «Фем»!); пару держащихся за руки лесбиянок; человека, который носил бахилы с цветастыми переводными картинками; неоперившихся солдат, пивших неразбавленный джин... Теперь близилось время закрытия, и Эндерби, как ему казалось, был совсем недалеко от вокзала Чаринг-Кросс. Это означало две остановки на подземке до Виктории. Должен же найтись симпатичный поздний поезд до побережья.

Неуклюже расплачиваясь за свой виски, Эндерби увидел, что денег у него осталось совсем мало. Он прикинул, что за вечер сумел употребить добрую дюжину порций виски и кружку пива или около того. Обратный билет благополучно лежал в левом внутреннем кармане пиджака Арри. Сигареты у него имелись. Еще один стаканчик – и домой. Улыбаясь, он

обвел взглядом общественный зал. Славные британские рабочие, соль земли, перемежающие бранью отведенный им скудный словарный запас, мозолисторукые, но ловко обращающиеся с дротиками для дартса. На банкетке с высокой спинкой под прямым углом к барной стойке сидели две английские работницы, безмятежные от паров стаута.

– Начиная со следующей недели. В «Фем», – сказала одна. – С бесплатной картинкой. Подумать только, цветной! Какой же он душка!

Эндерби ревниво слушал.

– А вот я никогда его не покупаю. Глупое название. Откуда они только их берут, ума не приложу.

– Если вы говорите о журнале, в который я сам скоро буду писать, – вмешался Эндерби, – я бы сказал, что название предполагалось как слегка французское и шаловливое.

Он одарил их доброжелательной от виски улыбкой, опершись о стойку правым локтем и положив левую ладонь на правое предплечье. Женщины с сомнением подняли взгляд. Лет они были, скорее всего, одних с Вестой Бейнбридж, но наводили на мысль о захудалых кухоньках, о чае, который подают подсчитывающим ставки мужчинам без пиджаков, пока в углу мигает и кричит телевизор.

– Прошу прощения? – громко переспросила одна.

– Шаловливый, – очень ясно повторил Эндерби. – Чуть французистый.

– А пьяные французики тут при чем? – спросила другая. – Мы тут с подругой разговариваем, знаете ли.

– А я им буду писать стихи, – сказал Эндерби. – Каждую неделю. – Он несколько раз покивал, совсем как Утесли.

– Держите свои стихи при себе, ладно? – Женщина резко отхлебнула «Гиннеса».

Из угла, где играли в дартс, подошел мужчина с дротиком в руке.

– У тебя все в порядке, Эдди?

На нем был сносно скроенный костюм из плохой саржи, но ни воротничка, ни галстука. Золоченая головка запонки, поймав было свет, на мгновение ослепила Эндерби. У мужчины было исхудалое смышленное лицо, а сам он был низеньким и ловким, как углекоп. Эндерби он окинул таким взглядом, точно снимал с него мерку.

– Ты ведь ей ничего неприличного не сказал? – спросил он. – А, приятель? – добавил он провокационно.

– Он про шаловливые стишки говорил, – встряла Эдди. – Да еще французские.

– Так ты моей жене шаловливые стишки читал? – спросил мужчина. И

подобно мильтоновской Смерти, занес ужасный дротик.

– Я просто сказал, – глупо ухмыльнулся Эндерби, – что буду для него писать. Для того, что они читают. То есть, Эдди, как я понимаю, ваша жена не читает, но вторая читает, понимаете?

– Давайте-ка не будем про то, кто не читает, ладно? – сказала Эдди. – И с именем моим не фамильярничайте, идет?

– Слушай сюда, – велел муж Эдди. – Прибереги это для бара почище, там за привилегию еще и пенни доплатят, ладно? Нам же тут таких, как ты, не надо.

– Никакого вреда не чинил, – запыхтел Эндерби, потом решил полить обиду струйкой сладкого соуса лести. – То есть я просто разговаривал. – Он метнул вбок хитренький взгляд. – Просто время проводил, если понимаете, о чем я.

– Так вот, незачем с моей хозяйкой время проводить, сечешь? – сказал игрок в дартс.

– Сечешь? – почти в унисон повторила Эдди.

– Да не хотел бы я с ней время проводить! – гордо ответил Эндерби. – Мне есть чем заняться, спасибо большое.

– Придется тебя проучить, – очень искренне отозвался мужчина. – Выпил ты слишком много, приятель, как я погляжу. Убирайся-ка лучше отсюда, пока я не разозлился. Пить не умеешь, вот в чем твоя беда.

– Пррррффп, – внесли свой вклад внутренности Эндерби.

– Послушайте, – сказал Эндерби, – это не нарочно, я правда не хотел, никакой это не ответ и не комментарий, заверяю вас, что такое с каждым могло бы случиться, даже с каждой, если уж на то пошло, даже с вашей женой Эдди, то есть включая вас.

– Пррррфффп.

– Что скажешь? – спросила мужа Эдди.

– Вот тут мой кулак, – сказал муж, убирая дротик в карман. Остальные посетители притихли и заинтересованно оглянулись. – Ты им получишь прямо в рожу, прямиком в рожу получишь, если сейчас же не уберешься с глаз моих, идет?

– Я как раз собирался уходить, – ответил с достоинством покачивающийся Эндерби. – Если вы позволите мне допить.

– С тебя хватит, приятель, помяни мое слово, – дружески возразил он. Из салона раздался крик о «последнем заказе». – Если хочешь топить свои тайные горести, делай это подальше от нас с женой, понимаешь ли, потому что я близко к сердцу такие вещи, как ты говорил, принимаю, сечешь?

Поставив стакан, Эндерби наградил любителя дартса стеклянным, но

прямым взглядом, потом звучно, но без злобы рыгнул. Он поклонился и, протолкавшись вежливо через толпу запоздалых пьяниц, стремящихся получить один распоследний стаканчик, не без достоинства удалился. На улице в нос ему ударил крепкий дух по-гиннессовски горькой, замороженной ночи, и он пошатнулся. Любитель дартса последовал за ним и теперь стоял на пороге, оценивая и взвешивая.

– Слушай, приятель, – сказал он, – это правда не мое дело, потому что я сам, Бог знает, частенько набирался, но жена настаивает, так что не взыщи.

Он поклонился и, кланяясь, вдруг резко повернул торс влево, точно прислушиваясь к чему-то с этой стороны, а потом вынес левый кулак и корпус вправо и вверх и врезал Эндерби – не слишком сильно – прямоком в живот.

– Вот так, – сказал он в общем-то добродушно, словно удар был задуман исключительно в терапевтических целях. – Так сойдет, верно?

Эндерби охнул. Черета виски и пинт пива за вечер болезненно прошла через новый вкусовой орган, воздвигнутый специально по этому случаю, и все они корчились от боли и, проходя, отдавали мучительную дань. Газ и огонь выплеснулись из шейкера, вульгарно ударив в хрустальный воздух. Предвестники желания сблевать толпились и подрагивали. Эндерби отошел к стене.

– Вот так, – добродушно повторил любитель дартса. – Куда же ты собирался, а? Ты сейчас в Кеннингтоне, понимаешь, на случай, если не знал.

– Виктория, – произнесли желудочные газы Эндерби, сложенные в нужное слово языком и губами. В данный момент воздуха у него не было.

– Проще простого, – ответил добрый человек. – Первый поворот направо, второй налево, пойдешь прямо и попадешь на станцию Кеннингтон, сечешь? Сядешь в поезд на Чаринг-Кросс, тебе нужна вторая остановка, первая будет Ватерлоо, пересядешь на Чаринг-Кросс, сечешь, на линию Серкл. Вестминстер, Сент-Джеймс-парк, и ты на месте, сечешь? И самого тебе наилучшего, без обид.

Похлопав Эндерби по левому плечу, он вернулся в бар.

Эндерби все еще хватал ртом воздух. Такого не случилось с его студенческих дней, когда его однажды избили возле паба пианист и его друг за то, что он чертовски цветисто высказывался про псевдомузыку, которую пианист выдавал. Сильными вдохами Эндерби нагонял в сопротивляющиеся легкие воздух, спрашивая себя, так ли уж хочет блевать. На мгновение он было подумал, что нет. Удар в живот еще тлел и дымился

угольком, и название ЛОНДОН трепыхалось в боязливом пламени предостережением, как в рекламе какого-нибудь фильма про девушек по вызову или про конец света. Он видел себя в безопасности собственного сортира, за работой над стихами. Никогда больше. Никогда, никогда больше. Женские институты. Золотые медали. Лондонские пабы. Силки, расставленные на бедного Эндерби, джины и джин, стаканы джина и джины в стаканах, только и ждущие, чтобы он оступился.

До станции Кеннингтон он добрался без особых трудностей и сел в поезд до Виктории. Сидя напротив косоглазого человека, который, по-шотландски гнусая, разговаривал с самодовольным терьером у себя на коленях, Эндерби почувствовал корабельную качку и понял, что скоро придется бежать к борту. Потом у него возникло иллюзорное впечатление, будто жующие жвачку подростки через пару мест от него обсуждают пьесу Кальдерона. Он потянулся послушать и едва не упал на правое ухо. На Ватерлоо он был уверен, что косоглазый шотландец сказал своему псу *monne plaine*<sup>[14]</sup>. В животе у Эндерби били барабаны и пронзительно блеяли охотничьи рожки. Возможно, пора признать поражение, поплестись прочь и сблевать в пожарное ведро. Слишком поздно. Поезд и время оставили позади Ватерлоо, нырнули под реку, и, слава богу, вот он – Чаринг-Кросс. Чаринг-кроссоглазый встал и вышел. И терьера с собой прихватил.

– Приняли капельку, – доверительно сообщил он Эндерби и удалился на переход к линии Бейкерлоу, а собака на цыпочках потрусила следом – виляли и толстый круп, и радостный хвост.

Эндерби чувствовал себя решительно больным, а еще был сбит с толку. Он почему-то был уверен, что именно с южной платформы этой Северной линии попадет туда... ну куда-то там... Сделав несколько неверных шагов, он упал на скамейку. На плакате по ту сторону путей любитель свежего воздуха опоражнивал стакан молочного стаута, прекрасные, мощные жилы у него на горле вздувались с силой заправского питейщика пива. Рядом с ним, на акварельном наброске, искрящемся напором и смехом, уверенный молодой человек и очаровательная девушка тянули каждый на себя порцию пирога с мясным экстрактом. Дальше маленький рыжий макроцефал охал от удовольствия, засунув за щеку плитку экстракремовой ириски. Эндерби испытал позыв к тошноте, но память спасла его четырьмя строками застольной песни, которую он написал в пьяной юности:

И я бродил во тьме и страждал,  
Блевал я над канавой каждой,

Стою столбом, бывало, я,  
И голову склонил...

Это отбросило нынешнюю тошноту назад в прошлое, а еще обезличило. Утешение в искусстве. Невидимый пока поезд ревом Минотавра известил о своем приближении поджидающих пассажиров. Один человек свернул вечернюю газету и заткнул в боковой карман пальто. «Поэт требует честной игры», – успел мельком прочесть Эндерби. Да сегодня просто праздник для поэтов! Поезд с силой вдавился в отведенный ему узкий рукав ураганом арктического воздуха, который пошел Эндерби на пользу. Едва он встал, у него закружилась голова, но он укрепился духом, чтобы проделать путь к Победе-Виктории: в одурении от виски вокзал виделся ему огромным и желанным сортиром паровозных свистков и сероводорода. Пошире расставив для равновесия ноги, он встал перед еще не открывшимися двойными дверьми, надеясь удержаться на вздымающейся платформе. Пассажиры за дверьми застыли, словно перед поднятием занавеса. Тут Эндерби отвесила затрещину паника сомнений, когда двери раздвинулись, и собиравшиеся войти хлынули наружу.

– До Победы пойдет? – крикнул он.

Многие из выходивших не говорили по-английски и делали извиняющиеся жесты, но невозмутимый женский голос вдруг произнес:

– Этот поезд, мистер Эндерби, вам совершенно точно не подойдет.

Эндерби прищурился на видение: перед ним стояла миссис Как-Ее-Там из «Фем», вдова автогонщика в яблочно-зеленой тафте, по переду плоско, с боков собрано складками, короткая каракулевая куртка, лодочки из козленка цвета марказита, брошь с марказитами у выреза платья, крошечные висячие серьги с марказитами, волосы цвета пенни сияют чистотой монеты. Челюсть у Эндерби глуповато отвисла.

– Если бы вы сели на этот поезд, – сказала она, – то попали бы на Ватерлоо и Кеннингтон, Тутинг-Бек и в конечном итоге Морден. Судя по вашему виду, вы бы проснулись в Мордене. Сомневаюсь, что вам там понравилось бы.

– Вам тут быть не положено, – проямлил Эндерби. – Вы должны быть на каком-то обеде, где-то...

– Я и была на обеде. Я как раз возвращаюсь из Хэмпстеда.

Двери поезда сомкнулись, и поезд уехал в свой туннель, ветер встопорщил пряди, выбившиеся из прически вдовицы, и заставил ее повысить голос, так что шотландский выговор прорезался яснее.



– И я возвращалась к себе домой на Глостер-роуд. – Невозмутимые глаза смерили покачивающегося Эндерби с головы до ног. – А это значит, что мы сядем на один поезд, и я смогу удостовериться, что вы сойдете на вокзале Виктория. Дальше вам придется отдаться под защиту тех богов, что присматривают за пьяными поэтами. – Было в ней что-то от тонкогубой кальвинистки, в ее голосе не прозвучало ни тени веселого снисхождения. – Идемте. – Она взяла Эндерби под локоть.

– Если вы не против, – сказал Эндерби, – если извините меня всего на минутку....

Зелень откликнулась на зелень. Эндерби исхитрился поймать извергшееся в носовой платок, который взял с собой для блезиру.

– О боже, – простонал он. – О, Иисус, Мария и Иосиф.

– Ну же, – подстегнула она. – Шагайте. Дышите глубже. – Она твердо повела его к линии Серкл. – А вам крепко досталось, верно?

Никакие духи не могли смыть позора Эндерби.

## 5

Эндерби вернулся к себе на Фицгерберт-авеню, дом 81, основательно протрезвевший после двух падений на задницу на обледенелых улицах от вокзала. На этой самой заднице он сидел сейчас на ступеньках и плакал. Уходящая вверх лестница начиналась рядом с дверью в квартиру Эндерби и заканчивалась на площадке с зеркалом и пальмой в кадке. Далее тянулся темный и зловещий пролет до квартиры наверху, пристанища коммивояжера и его сожительницы. Эндерби сидел и плакал, потому что забыл ключ. Он упустил (возможно, переволновавшись утром из-за визита миссис Мельдрам) переложить ключ из кармана куртки в соответствующий карман пиджака Арри. Теперь был час пополуночи, слишком поздно звонить миссис Мельдрам, чтобы она открыла хозяйским ключом. У него не было денег на номер в гостинице. На улице было слишком холодно, чтобы спать на крытой лавочке. Ему совсем не улыбалось вымаливать камеру в полицейском участке (слишком много там фараонов с физиями преступников и усами лондонских проходимцев). Лучше уж сидеть тут, на третьей ступеньке, в пальто и шарфе и попеременно то курить, то плакать.

Впрочем, и курить осталось недолго. Миссис Как-Ее-Там из «Фем» забрала его последнюю пачку корабельных «Вудбинов» (у нее кончились, а она ничего другого не курила) в награду за то, что по-шотландски стоически сносила его желание сблевать в тамбуре всю дорогу до вокзала

Виктория. До позднего зимнего рассвета придется протянуть на пяти «Синьор сервисах». Он устал, устал настолько, что не смог бы заснуть. День выдался длинный, полный событий, душераздирающий. Даже в поезде домой весь вагон был как будто набит мокрогубыми ирландцами, которые непрерывно пели. А теперь холодная лестница, долгое бдение. Он тихонько завыл, как сбитый с толку луной гончий пес из известного блюза.

Дверь квартиры наверху со скрипом открылась.

– Это ты, Джек? – хриловато прошептал женский голос. – Ты вернулся, Джек? Прости меня, Джек. Я не всерьез говорила, милый. Иди в кровать. Джек?

– Это я, – отозвался Эндерби. – Не он. Я, – и добавил: – Без ключа.

– Кто вы? – спросила женщина.

Лампочка на лестничной площадке давно, уже несколько месяцев как перегорела, а миссис Мельдрам и не думала ее заменять. Сейчас ни один не мог видеть другого.

– Тот, кто снизу, – ответил Эндерби, легко впадая в простонародную манеру выражаться. – Не тот, с кем вы живете.

– Он ушел, – произнес в лестничный провал голос. – Он всегда говорил, что уйдет, и теперь ушел. Мы немного повздорили.

– Это правильно, – отозвался Эндерби.

– Что значит правильно? Мы немного повздорили, и теперь он ушел. Готова поспорить, он пошел к той мерзавке, что живет у Декоративных садов.

– Нестрашно, – сказал Эндерби. – Он вернется. Они всегда возвращаются.

– Не вернется. Сегодня не вернется. А мне страшно тут одной.

– Чего вам страшно?

– Что я совсем одна. Как я и сказала. Да еще в темноте. Свет погас, пока мы ссорились, и я не знала, не видела, куда его ударила. У вас есть шиллинг до утра?

– Ни пенни, – гордо ответил Эндерби. – Я все спустил на выпивку в городе. Наверное, мне лучше подняться, – храбро сказал он. – Я мог бы поспать где-нибудь на диване. Понимаете, я забыл ключ. Чертовски неудобно.

– Только Джеку на глаза не попадитесь.

– Джек же ушел к той мерзавке у Декоративных садов, – напомнил Эндерби.

– А-а. Так вы его видели, правда? Так я и думала. У нее же у корней черное видно, дрянь эдакая.

– Я поднимусь, тогда вам больше не придется бояться темноты. У вас наверху ведь есть диван, правда? – спросил, мучительно поднимаясь и ползя вверх по ступенькам, Эндерби.

– Если думаете, что можете залезть ко мне в постель, лучше выбросьте это из головы. Хватит с меня мужчин.

– У меня нет намерения забираться к вам в постель, – возмутился Эндерби. – Я просто хочу прилечь на диване. Я не слишком хорошо себя чувствую.

– Нечего, черт возьми, нос задирать. У меня в постели такие мужчины бывали, что вам и не снилось. Осторожно, – сказала она, когда Эндерби пнул металлическую кадку с пальмой на площадке. Еще через пролет он наткнулся на что-то теплое и грудастое. – А вот без этого можете обойтись. Слишком уж вы прыткий. – Она энергично нюхнула. – Ну и дорогуший же парфюм! С кем вы были, а? В тихом омуте черти водятся, если вы, правда, тот, за кого себя выдаете, то есть за того, кто внизу живет.

– Где он? – шарил Эндерби. – Я просто хочу где-нибудь прилечь. – Его руки нащупали ширину и мягкость дивана, протяженность которого прерывалась предметами разных форм: бутылок (они позвякивали) и наполовину полной коробки шоколадных конфет (она шуршала). – Кости положить, – поправился он, чтобы прозвучало более дружески.

– Устраивайтесь как дома, – язвительно откликнулась она. – Если вам что-нибудь понадобится, не стесняйтесь, звоните. И в котором часу вы пьете утренний чай? – спросила она придиричиво. – Мужчины!

Судя по удаляющимся звукам, она ушла в спальню. Там она презрительно издала звук, достойный самого Эндерби, которого оставила одного в темноте.

## Глава четвертая

### 1

Он проснулся с первым светом, под ксилофонный звон молочных бутылок и импотентный скрежет автостартеров. Он почмокал губами и поцокал языком о жесткое небо, исследуя рот, похожий (вульгарное сравнение всплыло из вчерашнего вульгарного ползания по пабам) на борцовский бандаж для мошонки. Вульгарное сравнение поднесло пальцы к носу жестом, который мачеха назвала «жирный бекон», осенило себя на старо-римский лад, непристойно фукнуло и полезло вверх по стене, как ящерица. Эндерби мерз в своем пальто, чувствовал себя неопрятным под стать комнате, которая теперь проступала как картинка на телеэкране, когда прибор наконец нагрелся. С картинкой пришел и звук: храп женщины в соседней комнате. Эндерби заинтересованно прислушался. Кто бы мог подумать, что женщины способны так громко храпеть! Мачеха-то, конечно, могла храпом крышу с дома снести, но она была уникальной. Но уникальной ли? Он вспомнил свое сортирное творение о том, что все мачехи женщины, или все женщины мачехи, или что-то в таком духе, а после вспомнил весь вчерашний день, далеко не скучный, и в голове вдруг совершенно отчетливо всплыло имя вдовы, которая напоила его чаем и отвезла до остановки подземки «Вокзал Виктория»: Веста Бейнбридж. Стыд согрел тело Эндерби, а после голод забарабанил в него, как в дверь. Мимо бодро шагал позорный день, раздувая ноздри в глупой издевке, и нес с собой знамя святого Георгия. Шумно протопав, он принял стойку вольно позади скверно сколоченного буфета. Надев очки, Эндерби с мучительной ясностью увидел пивные бутылки и старую «Дейли миррор» и, оглядевшись, со скрипом и стонами прошаркал к кухонному уголку. Стол был заставлен квадратными поддончиками с полуфабрикатами, а еще пустыми молочными бутылками с засохшими архипелагами на дне. Эндерби напился воды из-под крана. Вытерев рот кухонным полотенцем, он открыл кухонный шкаф, где нашел маринованные огурцы. После нескольких хрустящих слизняков он почувствовал себя лучше.

Перед уходом он окликнул хозяйку, но та, сбросив с себя одеяла, оставалась лежать, раскинувшись на двуспальной кровати. Мимо прогрохотал грузовик, и ее груди легонько задрожали под прозрачной ночной рубашкой, как плохо застывшее бланманже. Пелена черного дыма

волос поднималась и опадала над ее лицом в такт храпу. Эндерби укрыл ее покрывалом, поклонился и вышел. Не такая уж она старая, решил он. Глупая толстая девка, по сути, не способная на злокозненность. Она приютила Эндерби. Эндерби этого не забудет.

Спускаясь, Эндерби столкнулся с молочником: пинту к двери Эндерби, полпинты к подножию лестницы. Молочник осклабился и дважды поцокал языком. Сколько рассветов, столько и предателей. Эндерби пришла в голову дерзкая мысль.

– Пришлось там спать, – сказал он. – Дверь случайно захлопнулась. Вы в замках разбираетесь?

– Страсть над слесарями смеется, – нравоучительно выдал молочник. – Посмотрю, нет ли у меня куска проволоки.

Минуту спустя объявился почтальон с купонами для квартиры наверху, для Эндерби – ничего.

– Так не пойдет, – критично сказал он. – Давайте я попробую.

Он тяжело подышал на замок, щупая и ковыряясь.

– Уже поддается, – пропыхтел он. – Полсекунды.

Замок открылся, Эндерби повернул ручку, и дверь распахнулась.

– Очень обязан вам обоим, джентльмены, – сказал он.

Ему не улыбалась перспектива идти к миссис Мельдрам. Отдав им последние монетки, он вошел к себе.

О, какое облегчение вернуться! Сдернув пальто, Эндерби повесил его за левое плечо на крючок в крошечной прихожей. С чуть большим тщанием он снял одолженный у Арри костюм и аккуратно свернул его в шар. Этот шар он до времени положил на незастеленную кровать, а сам натянул водолазку. Теперь он был одет для работы. Шлепая голыми пятками, Эндерби направился в гостиную, а там сразу уловил перемену. На столе лежало письмо без штемпеля, а с самого стола были убраны грязные тарелки со вчерашнего утра. Ногой включив обогреватель, Эндерби сел – с обеспокоенно нахмуренным челом – читать. Письмо было от миссис Мельдрам.

*Дорогой мистер Э.*

*Простите, что осмотрелась в ваше отсутствие, но ведь, в конце концов, это мое право домохозяйки. Просто позор, во что вы превратили квартиру, тут двух мнений быть не может, учитывая, что ванна полна стихов, а это никогда не входило в намерения тех, кто ванны производит и устанавливает. И ковры тоже не выбиты, я постыдилась бы показывать квартиру новым жильцам. Так вот, слово мое верно, и со*

*следующего месяца плата повышается, и вам еще повезло, что вы так долго и так дешево ее снимали, учитывая, как цены повсюду растут. Если вам не нравится, вы знаете, что делать, у меня есть другие, кто будет содержать квартиру в должном порядке и жаждет въехать в следующем месяце. Вам нужно, чтобы кто-то за вами приглядывал, положитесь на мое слово, и противоестественно для мужчины ваших лет и образования, которое, как вы говорите, у вас есть, жить одному и чтобы за домом некому было присмотреть. Говоря напрямик и не замалчивая того, что следует сказать вслух, вам надо жениться, пока вы не впали в полное запустение, и таково истинное мнение многих, с кем я говорила.*

*С уважением*

*У. Мельдрам (миссис).*

Вот оно как... Эндерби горько почесал коленку. Этого они хотят, да? Да еще с орфографическими ошибками? Чтобы за Эндерби присматривали, чтобы тарелки мыли как следует, чтобы постель регулярно стелили, чтобы ванная превратилась в чистенькую мечту с серо-зеленой занавеской для душа, щетками для спины и ногтей (нейлоновая щетина и пластмассовые ручки рыбкой), а наполненная ванна ждет розового купальщика, который выводил бы в облаках пара рулады. И для муженька Эндерби – кабинет, чтобы писать там свою драгоценную поэзию. Ну уж нет. В голове у него загомонили птицы: призывы голубей и птичий гомон, а еще – крик уток: сделай, дерзновенный, свой священный...

– Это мой выбор, – твердо сказал вслух Эндерби, направляясь на кухню приготовить завтрак (эта мерзавка миссис Мельдрам помыла его тарелки!) и заварить мачехин чай. Он останется верен той архетипичной мерзавке, второй жене отца. Она превратила его жизнь в ад; никакой больше женщине он такой привилегии не предоставит.

И все-таки... И все-таки...

Эндерби позавтракал черствым хлебом с клубничным джемом и чаем, а после ушел к себе в «кабинет». Его бумаг рука миссис Мельдрам не коснулась; его стол со специально укороченными ножками ждал у поэтического трона. «Ласковое чудовище» тихонько взрыкивало. Сборник из пятидесяти стихотворений, запланированный на осень, был почти завершен. Первым делом следовало расправиться с продолжением цикла любовной лирики – со «Вторым посланием к Тельме от Арри». Эндерби чувствовал себя виноватым за состояние костюма Арри. Неведомо откуда на коленях собралась грязь, лацканы почему-то все в жирных пятнах, острая стрелка на брюках с невероятной быстротой затупилась. Арри надо

умилостивить чем-нибудь по-настоящему хорошим. Он уже жаловался на содержание подношений от Эндерби: слишком много кухонных сравнений, а воззвания к жестокому сердцу красавицы напротив слишком замаскированы. Арри клялся, что она прочла стихи вслух продавцам автомобилей, и те над ними поржали. Надо написать в лоб и по существу, не вульгарно, но откровенно и дать понять, чем Арри желает с ней заняться, надо написать что-то такое, что она будет держать под подушкой и краснеть, когда достанет письмо, пахнущее ее запахами. Усевшись на свой поэтический трон, Эндерби решил, что в запасе, пожалуй, есть кое-что подходящее. Порывшись в ванне, он нашел кое-какие свои ранние стихи. Одно стихотворение он написал в семнадцать лет. Называлось оно «Музыка сфер».

Вот я поднял мою свирель  
И, будет всем известно,  
Сейчас душой исторгну трель  
Напева сфер небесных.

Ни Перселл, черт бы драл его,  
Ни Арн, уж если честно,  
Не стоят ноты моего  
Напева сфер небесных.

Мне чужд гордыни едкий дым, —  
Движение звезд окрестных  
Не изменилось в такт с моим  
Напевом сфер небесных.

Рожден далеко от земли,  
В пространствах неизвестных, —  
Мой друг, порадуешься ли  
Напеву сфер небесных?

Отринь девичий робкий страх,  
Напев любви мой слыша.  
Узри — любовь в земных цветах,  
Весна любовью дышит!  
Так в голос вслушайся земной  
И под мою свирель запой!

Стихотворение определенно обращалось к девственнице, что в случае Тельмы было явной нелепицей. А образы сфер? И не покажутся ли они слишком грубыми барменше, надо полагать, респектабельного воспитания? Грязные шутки в баре это одно, но грязная литература, даже самый малый намек на нее, совсем другое. Под этим готов был расписаться все еще болевший живот.

Семнадцать лет. Дата написания стояла в нижнем углу рукописи. Кому он тогда писал? Он глубоко задумался, почесываясь. Никому, мрачно решил он. Но разве в том романтическом возрасте он не мечтал о воздушном создании, которое – по причине бесконечной утонченности и сладко-майского запаха – не оскорбилось бы от таких слишком уж очевидных символов домогательства? Он мысленно нарисовал образ девушки, как мистик рисует образ бога, исходя из того, чем она не является, а именно его мачехой; затем из долгих размышлений о негативных атрибутах возник и сам позитивный образ. И тогда она пришла к нему в мечтах: стройная и смеющаяся, но, главное, *чистая*. И ни в коем случае не вдова: он отказывался позволить этому второму изданию юношеского образа принять черты и аромат миссис Бейнбридж.

Вздохнув, он начал – очень решительно и отстраненно, в порядке чисто поэтического упражнения – писать очень эротическое стихотворение «От Арри Тельме», полное грудей, ляжек и тоски с придыханием. Закончив, он отложил его остывать, а после вернулся к построению лабиринта, дома для Ласкового чудовища.

## 2

Обычно распорядок дня Эндерби был таков. Будь то зима или лето, он поднимался на рассвете или чуть позже, завтракал, испражнялся, потом работал, иногда начинал работать, не закончив испражняться. В четверть одиннадцатого он брился и готовился к выходу, иногда с хозяйственной сумкой; в половине одиннадцатого он выходил из квартиры, шел к морю, покупал батон и кормил чаек; сразу после этого употреблял утренний виски с престарелыми и умирающими или, если Арри не работал, с Арри в «Гербе масонов». Иногда он навещал Арри на его кухне, и Арри давал ему остатки со вчерашнего (кости индейки с ошметьями мяса, несколько ломтиков жирной свинины, кусок костистой части бараньей шеи для воскресного обеда). Затем Эндерби совершал необходимые покупки: батон



для себя самого, картофель, пару пачек сигарет, пикули, небольшой мясной пирог, сладкий пирожок за четыре пенни. По возвращении домой он готовил еду, а если со вчерашнего оставалось что-то холодное, ел сразу, работая за едой; потом он клевал носом в кресле или даже заваливался одетым на кровать, чтобы по-настоящему поспать. Затем назад в сортир – доделать оставшееся на сегодня, после – остатки с обеда или хлеб с какой-нибудь дешевой приправой, мачехин чай на сон грядущий – и в постель. Такая жизнь никому не мешала. Иногда этот порядок нарушали капризы Музы, которая швыряла в Эндерби стихи – обрывками или полностью оформившиеся. Тогда, бросив недопитый виски, готовку или усердное корпение над нелирическими произведениями, он был вынужден сейчас же записывать под ее истерическую, холодно пророческую или телеграфную диктовку. Он уважал свою Музу, но боялся ее причуд: она могла быть игривым котенком или выпустившим когти тигром, сосущим палец идиотиком или надменной богиней в бальном платье эпохи Регентства. Перепады ее настроения были так же непредсказуемы, как и визиты. С большей предсказуемостью давали о себе знать другие «кары небесные»: диспепсия во всех ее проявлениях, газы, икота. Так, между приступами небесного и кишечного вдохновения он влачил свои тихие дни, одинокий отшельник, совершенно безобидный. Письма и посетители редко тревожили его дверь, новости из опасного мира никогда в нее не стучались. Его дивиденды и крохотные роялти шли прямиком на счет в банке, банк он посещал раз в месяц, смиренно ожидая со своим чеком, аккуратно выписанным на двадцать с чем-то фунтов, в очереди из владельцев пабов с бычьими шеями и мясников с лицами аскетов, которые вносили необъяснимые – горы тусклых медяков, которые так долго приходилось пересчитывать. Он никому не завидовал, разве только великим и точно умершим.

Заведенный порядок его жизни, уже нарушенный катастрофической поездкой в Лондон, еще более расстроили последствия этой поездки, а именно появление большой посылки. На наклейке с обратным адресом значилось «Фем», а ниже красовалось изображение ухоженной, хотя и дебильной женщины, по всей видимости, типичной читательницы журнала. Поглощенный работой над поэмой. Эндерби принял ее в подштанниках и с разинутым ртом и тут же побежал с ухающим сердцем в гостиную открывать. Внутри оказался контракт на подпись и краткое сопроводительное письмо от миссис Бейнбридж. Писала она размашисто и деловито, но позволила своему аромату – крайне деликатно – пропитать писчую бумагу. Обоняние у Эндерби было так себе, но ее женственный

образ он уловил очень ясно.

Эндерби мало что знал о журналах. Мальчиком он читал «Кинопотеху» и «Веселые чудеса». В молодости он проглядывал поэтические периодические издания и ядовитые левацкие рецензии по выходным. В армии он пролистывал то, что читали солдаты. В приемных он с каменным лицом сидел над «Панчем». Он слышал про послевоенную сыпь дешевых журнальчиков и удивлялся разнообразию их специализации и числу культов, которым они как будто служили. Он знал, что есть два или три целиком посвященных какому-то покойному кумиру, эдакому возрождающемуся богу, видел он и несколько таких, которые прославляли молодых и еще живых оболтусов с гитарами, – предположительно, как раз их миссис Бейнбридж называла поп-певцами. Очевидно, нынешних молоденьких девушек обуяла почти религиозная жажда, утолить которую были способны лишь эти жалкие симулякры и их жрецы в прессе. А еще этим молоденьким девушкам денег некуда девать, поскольку в нынешний век специализации в чести только неумные, необразованные и неумелые. Но у скучающих домохозяек тоже имелись деньги. «Фем» дрался за их шестипенсовики, стараясь вытеснить «Женственность», дать в зубы «Очарованию», сорвать корсеты с «Женушки» и вырвать с черными корнями волосы «Блондинке».

Он устроился жадно читать «Фем». Время шло, утраченное навсегда, и его никогда не искупить, а он все гнусаво фыркал над содержанием журнала. На обложке красовалось девичье лицо, обобщенное и скучно хорошенькое. Перебрав стопку у себя на коленях, он отметил, что молодое лицо красуется на обложке каждого номера – вероятно, одной и той же женщины, хотя трудно сказать наверняка. Обложки мужских журналов, на его взгляд, предпочитали эксплуатировать женщину ниже шеи. Честно, каждому свое. Эндерби прочел письма читателей: чья-то маленькая дочка спрашивала, живет ли Бог в аэроплане; как превратить старую банку из-под джема в элегантную вазу, используя четыре разных оттенка лака для ногтей (общей стоимостью 8 шиллингов 6 пенсов); нежная благодарная улыбка – вся награда, какую она может просить за свой милосердный поступок; волнистый попугайчик миссис Ф. (из Ротерхэма) умеет говорить «Долли любит маму»; какими глупыми бывают мужчины, правда, они ведь хранят картошку в кухонном ящике! (Это последнее Эндерби озадачило: что тут глупого?) Имелась повесть в выпусках, озаглавленная «На вечность и один день», богато иллюстрированная очаровательной, но полной сомнений невестой. Пятистраничная статья демонстрировала, что *ненамного* дороже сделать собственный шкаф для пластинок (или заставить

мужа или бойфренда его сделать), чем покупать в магазине. Имелись короткие рассказы с названиями «Сердце в огне», «Почему ты меня покинул?», «Тебе вручаю я себя», «Привет, романтика», обычно приправленные изображениями слипшихся парочек – стоймя. За согревающей душу религиозной колонкой популярного поп-певца-проповедника шла редакционная статья «Собаки нашей королевы». Еще ему встретились пугающе клиническая болтовня про опухоли, статьи про каблук-шпильку, про изготовление мармелада и про то, как стать сияющей невестой. Эндерби надолго поглотило «Специальное кулинарное приложение», в котором он увидел способ улучшить наконец свой рацион (завтра он попробует «Апельсиновые сласти»). Он был шокирован и тронут письмами, какие присылали Миллисент Добросердечко, голубоволосой даме с острыми красными когтями и нежной улыбкой: «Он сказал, это было искусственное дыхание, а теперь оказывается, что я жду ребенка»; «Я замужем всего три месяца, но я влюбилась в отца моего мужа». Эндерби одобрительно покивал здравому смыслу ответа: нехорошо, не следовало этого делать; мне очень тебя жаль, моя дорогая, но ты должна помнить, что брак – это навсегда.

Сумерки наступили, а он все читал, и прочесть оставалось еще много. Он прокрался к выключателю, чувствуя себя виноватым, ища себе извинений за столь долгое погружение в глянцевое море: раз он собирается писать для домохозяек, нужно знать их вкусы. Желудок на такое небрежение обиженно заурчал. На кухне не нашлось ничего, кроме хлеба, джема и пикулей, придется выйти купить что-нибудь. Ему очень захотелось попробовать блюдо по рецепту Джиллиан Фробишер в «Специальном кулинарном приложении»: «Спагетти-сюрприз фромаджо».

Эндерби вышел с хозяйственной сумкой и вернулся с фунтом спагетти, куском сыра и большой головкой чеснока за четыре пенса. (В качестве альтернативы в рецепте предлагались две большие луковицы, но Эндерби испытал смутное отвращение при мысли о том, чтобы зайти к зеленщику ради каких-то двух луковиц; вот чеснок – другое дело, это ведь экзотика.) Тяжело дыша от возбуждения, он понес соответствующий номер «Фем» на кухню, чтобы рабски следовать инструкциям. «На четыре порции», – прочел он. Тут всего один мужчина, он сам, он, голодный Эндерби. Значит, надо все разделить на четыре. Взяв фунт спагетти, он разломал хрупкие палочки на мелкие кусочки. Он достал сковороду (жаль, что не нашлось глубокой, как требовалось в рецепте, ну да неважно) и налил туда одну столовую ложку оливкового масла. (Примерно с чашку его хранилось в буфете, слитого из консервных банок из-под сардин.) Бросив в сковороду

четвертую часть спагетти, он зажег газ и, как велено, готовил их медленно, переворачивая и помешивая. Потом он добавил две чашки воды, вспомнил, что надо делить на четыре, и сколько-то воды вылил. Потом, тяжело дыша, обратился к «Фем», пока сковорода слабо кипела на медленном огне. Натер сыр (натирать пришлось на терке для мускатного ореха миссис Мельдрам) и полученное бросил в сковородку. Теперь вопрос лука и чеснока. «Добавить две крупно порубленные луковицы, – писала Джиллиан Фробишер, – или чеснок по вкусу». Эндерби посмотрел на свой чеснок, он знал, что чеснок острее лука. Возможно, одна его головка будет эквивалентна тем двум? Нужно ли снимать кожуру? Нет. Полезные свойства в кожуре: например, у картошки. Он настрогал чеснок по долевой, потом по поперечной, кусочки бросил в булькающую смесь. Что там дальше? «Смазать блюдо маслом». На полке он нашел мутную посудину из огнеупорного стекла и щедро покрыл ее изнутри маргарином. Теперь предстояло перенести содержимое сковороды в посудину. Вынул он его с трудом: почему-то оно пристало ко дну, и пришлось с силой выковыривать то, что выковыриваться не желало. Наконец, он перевалил смесь в посудину. «Полейте сверху сметаной», – приказывала Джиллиан. Сметаны не имелось, зато нашлась уйма скисшего молока, зеленоватого сверху. Увенчав блюдо щедрой порцией сычужных катышков, он включил духовку. Там блюдо должно было готовиться на медленном огне около двадцати минут. Со стоном он наклонился, чтобы поставить посудину в духовку, потом пинком закрыл дверцу и потер руки. Готово.

Проклятье! Он только теперь сообразил, что забыл постоянно делить все на четыре. Нестрашно. И, возможно, спагетти должны чернеть по мере готовки. Он слышал, что в модных ресторанах еду намеренно сжигают на глазах у пресыщенных и светских клиентов.

Вернувшись к электрическому камину, он взялся за очередной номер «Фем». Завороженно вперившись в рекламу супа, на которой красовалась чашка холодной крови, и рекламу яиц, в которой нитки мертвенного белка готовы были соскользнуть с лопатки в блеклый желток на сковороде, Эндерби начал читать рассказ под названием «Ты не мой любимый». Рассказ был про стюардессу, которая влюбилась в капитана своего самолета, – новая для Эндерби тема. Он таращился в журнал гораздо дольше отведенных Джиллиан Фробишер двадцати минут, пришел в себя от икоты и побежал вынимать свой сырный «сюрприз» из духовки. Название, подумал он, выбрано довольно умело. Сев за стол, он наслаждался букетом подгорелых мучных изделий и зверского чеснока, от которого бросало в жар, как от взрыва ацетилена; обертоном в букете явилась

усталая тепловатость. Эндерби ожидал чего-то иного, однако, надо думать, Джиллиан Фробишер знала, что делала. Он ел, исполненный чувства собственного долга, но часто доливал себе холодной воды. Он должен изучить вкусы своих будущих читательниц.

### 3

Проснулся Эндерби среди ночи, с сержантской грубостью выдернутый из странного сна про кочерги. Боль была жуткая, хотя как будто не опасная. Пока Эндерби полз в сортир, голова у него была ясная, он даже помнил, как зовут отравительницу. Джиллиан Фробишер. В одном выпуске «Кулинарного приложения» имелась ее фотография: решительная, кудрявая, красивая еврейская девушка с невозможно чистой сковородой в руке. Эндерби поклялся, что если доберется до нее, то сковородку эту уж точно испачкает. Его подло обвели вокруг пальца.

Сода раздробила боль и отправила ее осколки по ветру. Устроившись в гостиной, Эндерби включил обогреватель. На часах десять минут четвертого. Время – хуже не придумаешь. Сверху доносились отзвуки ссоры, женский голос кричал словно через марлю: «Убирайся, слышишь? Убирайся, свинья!» Затем последовали рокот мужского голоса и тяжелые шаги. По всей очевидности, Джек вернулся. Вскоре женская ругань стала тише, искаженной, словно вырывалась из угла рта и краткими очередями. Заскрипели пружины. Взяв с дивана контракт, Эндерби задумался, подписывать ли его. Еженедельно выдавать рифмованные клише, высокопарное пустословие про далекие звезды в небе, про прикосновение толстеньких младенческих ручек к маминой шее, про доброту к страждущим – это ли не проституция? Чем бы ни были стихи, которые он писал Тельме от имени Арри, проституцией они не были. То откровенно чувственные, то слегка ироничные – их нечего стыдиться. Но предложение миссис Бейнбридж – это ли не змий, соблазняющий его сойти со стези истинного искусства звоном гиней, которые все равно достанутся миссис Мельдрам? Эндерби пошел в уборную осмотреть накопившуюся за годы труда мешанину в ванне. За последние полтора десятка лет он переезжал из города в город, с квартиры на квартиру, но думал, что здесь сможет осесть навсегда. Нехорошо менять мастерскую посреди работы над крупным произведением. Под влиянием нового места неуловимо меняется настрой, нарушается непрерывность... Тут ему пришло в голову, а как же он будет упаковывать в чемоданы содержимое ванны: мышей, хлебные корки и все

остальное... Многое теряется, испытываешь искушение что-то выбросить. Но, стоя босиком на кафеле, Эндерби вдруг задумался: а может, стоит принести эту жертву, переехать подальше к югу или к северу по побережью, подальше от миссис Мельдрам и от гораздо более опасной личности (ведь вдове скорбной уж никак не лень), миссис Бейнбридж, невозмутимо элегантной, самозваной почитательницы его стихов.

Он понимал, что пытается найти рациональное зерно в своем страхе перед отношениями с реальной женщиной, возможностью повторения в этой квартире того, что заканчивается сейчас этажом выше. Но его не оставляло беспокойство (всегда обострявшееся после того, как он успевал ушмыгнуть от зарождающейся близости), что тяга к одиночеству может сказаться на его творчестве. Согласно традиции, любовь к женщине всегда играла большую роль в жизни поэта. Взять, к примеру, Гете, которому, чтобы начать новое произведение, обязательно нужен был новый любовный роман. Если немецкая культура и сыграла какую-то роль в его становлении, сам Эндерби предпочел бы, чтобы в первую очередь это было влияние гораздо более угрюмой личности – Шопенгауэра. Шпенглер с его обещанием заката Европы тоже ему импонировал. В молодости, чтобы написать стихотворение о сексе и других людях, ему приходилось взывать к духу обоих философов. Ему вспомнился типичный вечер военного времени, затемнение в гарнизонном городке, лапающие мозолистые руки, хихиканье в темноте.

Сатиры и нимфы бегут, гомоня,  
И фавны холмы позабыли,  
Срывая бесстыдно покровы дня  
С брюха грязного Вилли.

Софитов свет и оваций гром:  
Весь мир ожидает заране,  
Когда *Vorstellungen* начертит он  
На голом, пустом экране.

Серебряный свет заливает шлюх,  
Их уличные уловки  
Сгладась, смягчась, становятся вдруг  
Шиком изящной сноровки.

Взгляни – ракеты летят из-за гор!

Был туго экран натянут.  
Увы... Свершился судьбы приговор,  
И жезлы в бессилии вянут.

Совсем не романтическое отношение к сексу. Любовь, как, кажется, говорил Шопенгауэр, разновидность киноперформансов или *Vorstellungen*<sup>[15]</sup>, организованных злой Волей, эдаким Виллом, киномехаником и управляющим в одном лице, а обмякшие тела присосавшихся друг к другу, хихикающих «влюбленных» – экраны, на которые проецируется подобие реальности. Но исчезновение экстаза, внезапное возвращение на землю после соития пугают, и в переоцененных словах любви, едва они произнесены, видишь то, что они есть на самом деле. Мимолетным образам онанизма нельзя навредить, нельзя солгать.

Эндерби вернулся в гостиную. Изжога, как родовые схватки, сызнава завела свое. В стакане осталось еще достаточно разведенной соды, поэтому уже через полминуты Эндерби смог излить свои муки:

– Грерррбрухаррррауууууупффффх!

Сверху немедленно последовал ответ: три раза стукнул увещающий ботинок. Эндерби кротко поднял глаза, словно на журящего Бога. Пора уезжать. Он услышал что-то вроде «Заткнись, Эндерби», потом женский голос произнес:

– Оставь его в покое. Он не нарочно.

Вспыхнула неразборчивая ссора, закончившаяся криком Джека:

– Так это он? Да, он? И чья это была идея? Лживая сучка, вот ты кто!

Печаль, понимаете ли, после соития. Печально покачав головой, Эндерби вернулся в постель. Он предупредит миссис Мельдрам, что съезжает, он не подпишет контракт миссис Бейнбридж. Пусть миссис Мельдрам получит своего улыбчивого и лысого молодого любителя ванн за счет фирмы. Маловероятно, что без еженедельного стиха от Эндерби читательницы «Фем» с лужеными желудками зачехнут.

## 4

Значит, решено.

Утро принесло письмо от Весты Бейнбридж.

*Дорогой мистер Эндерби!*

Третьего дня в Лондоне вы, похоже, накуролесили. Мне только сегодня удалось раздобыть вечернюю газету того достопамятного дня, которая пусть и кратко, но вполне ясно дает понять, что вы приложили все усилия, чтобы настроить против себя одного облеченного титулом мецената. Должна признаться, я даже восхищаюсь вашей независимостью, хотя один бог знает, как поэт в наши дни может позволить себе такую байроновскую роскошь. Я слышала, сэр Джордж весьма разобижен и зол. Что на вас нашло? Просто не понимаю, но я лишь обычная женщина без претензий на интеллектуальность и никогда не посмела бы возомнить, будто способна разгадать, что происходит в голове у поэта. Факт в том (и рискну сказать, вы довольно скоро услышите об этом от вашего собственного издателя), что ваше имя стало табу для Гудби из «Годных книг», поэтому будьте начеку.

В сложившихся обстоятельствах, думаю, неплохо было бы публиковать ваши еженедельные излияния под псевдонимом. Кроме того, это даст нам шанс расцветить колонку фотографией какого-нибудь длинноволосого мужчины-модели с пером в руке и устремленным к небесам мечтательным взором. Вы понимаете, о чем я: Поэт с большой буквы – в расхожем представлении домохозяек. Может, вам приходит в голову какой-нибудь псевдоним? Пожалуйста, подпишите контракт и перешлите его мне. Мне правда понравился наш чай вдвоем.

Ваша

Веста Бейнбридж.

Дрожа от ярости, Эндерби скомкал дорогую почтовую бумагу. Он швырнул письмо в унитаз и дернул за цепочку, но бумага оказалась слишком плотной и в спуск не пролезла. Пришлось вытащить мокрый ком и затолкать в старую картонную коробку с мусором – к консервным банкам из-под сгущенного молока, рыбьим костям, картофельным очисткам и испитому чаю. Через час тяжких мыслей и попыток продолжить работу он испытал настоящее желание перечитать письмо, что и сделал, смахивая заляпавшие бумагу чайники. «Накуролесил», «независимость», «байроническая» – вот как думают расхожая домохозяйка и Веста Бейнбридж... Он хмурился и щурился на слова – в крошечном коридорчике было темно. Вдруг в дверь забарабанили двумя кулаками – так горилла бьет себя в грудь, – и Эндерби удивленно поднял взгляд.

– Выходи, Эндерби! – прокричал Джек. – Хочу перемолвиться с тобой словечком, чертов ты поэт!

– Накося выкуси! – рявкнул Эндерби в духе и с интонацией мачехи.



– Выходи, Эндерби. Выходи и дерись как мужчина. Открой дверь и дай мне тебе вмазать, сволочь ты эдакая.

– Нет, – ответил Эндерби. – Не выйду. А если я открою дверь, то об этом пожалею. Знаю, что пожалею. Не хочу твоей крови на своих руках.

– Эндерби! – орал Джек. – Я честь по чести тебя предупредил. Открывай и дай мне тебя избить, блудливый ты поэтишка. Я тебе устрою за то, что спал с моей женой, лживая ты скотина!

– Она тебе не жена, – возразил Эндерби. – И спал я на диване. Кто-то меня оболгал. А теперь убирайся, пока я не разозлился.

– Открой дверь, Эндерби, прошу! – молил Джек. – Я хочу тебе врезать. Это просто-напросто справедливо, чтобы я тебя побил, сволочь ты такая, а я уже на работу опаздываю. Открывай и давай с этим покончим.

И обоими кулаками забарабанил по двери.

– Перестань, Джек! – раздался сверху женский голос, который почему-то навел на мысль о ночной рубашке и бигуди. – Только дураком себя выставишь!

– Дураком, говоришь? Сейчас увидим. А теперь заткнись! Ты свое получила, теперь очередь Эндерби.

Он забарабанил снова. Сходяв на кухню, Эндерби вернулся с ножом, которым разделывал зайца.

– Открывай, Эндерби. Время поджигает, скотина ты эдакая!

Эндерби открыл.

Джек был моложавым громилой с морщинистыми щеками и глазами цвета мочи. Будь волосы проволокой, черная проволока росла бы у него из головы. Он даже оба кулака заготовил – с жалко зажатыми внутрь большими пальцами. Эндерби уже получил в живот в Лондоне, дома его бить не будут. Он занес нож.

– Выкуси, – повторил он.

– Так нечестно, – обиделся Джек. – Я только побить тебя хотел. Несправедливо, что ты сразу за тесак схватился. Я всего-то хотел сказать, не лезь к ней наверх, понимаешь? А потом один хороший в рыло – и доброго всем дня. Не дело с чужой бабой блудить, она же моя, ты сам это понимаешь. А теперь положи нож и как мужчина прими, что тебе причитается.

– Выкуси, – приняв позу убийцы, отозвался Эндерби. – У меня ключа не было, вот и все, и она пустила меня поспать на диване. Если ты в этом мне не веришь, то вообще ни в чем не поверишь.

– Во что хочу, в то и верю, – совершенно искренне ответил Джек. – Я этого так не оставлю. Не думай, что ты от меня отделался, Эндерби, поэт

ты или нет. Это я тебе напрямик говорю. Сейчас я на работу иду, и так уже опаздываю, а виноват во всем ты, что только ухудшает дело. – Внезапно выбросив руку, он вырвал нож из хватки Эндерби. – Вот так-то, – гордо сказал он, – теперь тебе конец. – Эндерби стремительно захлопнул дверь. – Я вернусь, Эндерби! – крикнул Джек. – Тебе конец, помани мое слово.

Пнув дверь Эндерби, он затопал прочь, страшно хлопнув входной дверью.

Эндерби, трепеща, заперся в уборной. Канальи, негодяи. Презренные людишки с их треклятым сексом и чертовой ревностью... Значит, действительно время пришло, все на это указывает: прочь, прочь, прочь. Куда теперь? Сев на унитаз, он начал карябать список дел: (а) забрать наличность из банка, (b) раздобыть карту южного побережья, (с) послать миссис М. чек и уведомление о выезде, (d) написать миссис Б., (е) повидаться с Арри. От необходимости строить планы и кошмара надвигающихся сборов он разволновался и постарался найти утешение, сочиняя стихотворение, венчающее цикл «К Тельме». От получившегося несло жаркими руками, белой плотью, хриплым желанием, любовью, любовью, любовью... Для Эндерби оно стало своего рода катарсисом – сродни громкой площадной брани:

...В исступлении страсти, в безумье моем  
снова видится образ твой.

Под слепящим дождем невозможной любви  
никну горестной головой.

Петухи охрипли от криков любви.  
Напитать собою позволь

Пересохший, в корках кровавых рот, рот усталый,  
чья жажда – боль...

Он выписал чек миссис Мельдрам и сочинил по возможности отрывистое прощание:

*Благодарю за непрошеную заботу. Примите уведомление. Ваш и т. д.*

В письме миссис Бейнбридж он учтиво сообщил, что получил ее посылку и письмо, но с сожалением должен признать: по зрелому

размышлению он счел, что не сможет удовлетворить скудные поэтические потребности, даже если бы таковые существовали, читательниц «Фем». Его комплименты мисс или миссис Фробишер, если миссис Бейнбридж будет так добра их передать, и поздравления, что у читательниц ее «Кулинарного приложения» такие луженые желудки. Он, Эндерби, если это кого-то интересует, сильно пострадал от ее «Спагетти-сюрприза». Он намерен уничтожить контракт и раздать номера «Фем» бедным. Искренне ваш и так далее... P.S. Он съезжает с вышеуказанного адреса, куда – пока не знает. Отвечать ей незачем. Несколько успокоившись, Эндерби побрился и приготовился выйти из дома. Пока крикун Джек на работе, ему ничего не грозит.

## 5

В грязном белом поварском халате, дополненном белым шейным платком и белым колпаком-грибом, Арри отдыхал от кухонных трудов у барной стойки «Герба масонов». Эндерби он встретил без энтузиазма, но по собственному почину и без единого вопроса заказал ему двойной виски.

– Тот костюм, – сказал он, – просто в жутком состоянии. Пришлось отправить его в чистку. – Он отпил добрых три четверти пинты янтарного эля, смешанного с горьким.

– Извини, – ответил Эндерби. – Больше не повторится. Я больше ничего не буду у тебя занимать. Я уезжаю.

– Уезжаешь? Да? И уже никогда не вернешься?

– Вот именно.

Арри глядел серьезно и чуть печально, но за этой миной как будто скрывалась толика облегчения, душок его прорывался, точно в дырочку для пара в верхнем слое теста.

– Куда? – спросил он.

– Не знаю, – ответил Эндерби. – Куда-нибудь на побережье. Не важно куда.

– Тебе бы убраться как можно дальше, – посоветовал Арри, растягивая гласные, как в каком-нибудь примитивном языке: «подаааальше», оноματοпая, подчеркивающая расстояние, как только сможешь. Тут никому жизни нет. Никогда, никогда больше не возвращайся.

Он угрюмо глянул на лесбиянок в углу: Глэдис в очках и штанах под леопардовую кожу тайком лапала косоглазую Пруденс, а потом вдруг сочувственно посмотрел на Эндерби.

– Я, собственно, попрощаться зашел, – сказал Эндерби, – и пожелать успехов с ухлест...

– Нормалек будет, как хлестики пришьют.

– Я не про хлестики, а про твое ухлестывание за Тельмой говорил. Я принес тебе еще стихотворение, самое последнее в цикле. Если оно делу не поможет, тогда не знаю уж что.

Он достал из кармана сложенный листок.

Арри покачал головой.

– Ничто не поможет, ничто. Только чертово время потратил.

– И мое тоже, – согласился Эндерби.

– Вот и жди, когда рак на горе свистнет, – прошамкал беззубо Арри. – Ни рыба ни мясо эта Тельма. Что потрошки, что стишки – не в коня корм.

– Такова жизнь, – вздохнул Эндерби. – Никому сегодня поэзия не нужна. Все впустую.

Он собрался уже разорвать свое последнее пламенное посланье.

– Не, не впустую, – возразил Арри. – Пара-тройка очень даже недурные были. Да только не в коня корм.

Он протянул чистую поварскую руку, чтобы спасти стихотворение Эндерби. Развернув листок, он глянул на него без особого интереса и, сделав вид, что прочел, убрал в карман штанов. Эндерби заказал ему пинту янтарного с горьким.

– С тех пор как я тут живу, ты единственный, с кем я вроде как подружился, – сказал Эндерби. – Поэтому перед отъездом хотел бы пожать тебе руку.

– Все тебе руку жмут, – ответил Арри и поступил как сказано: – Когда сматываешь?

– Надо вещи собрать, – сказал Эндерби, – да еще решить, куда поеду. Завтра, наверное. Пока Джек на работе.

– Какой еще Джек?

– Ах да, извини. Малый, который живет надо мной. Он думает, у меня роман с его сожительницей.

– А-а, – качая головой, протянул Арри, потом посмотрел на Эндерби с новым сочувствием. – Сваливай как можно скорее, – сказал он. – Побросай вещички в мешок и отправляйся на вокзал Виктория. На Виктории есть карта со всякими названиями. Послушай моего совета, парень. Хороших мест полно. Выбирай, какое понравится подальше отсюда, и мотай туда напрямиком. Теперь все места одинаковы. Главное, не осесть. И что ты будешь делать, когда попадешь туда, куда едешь? Продолжать в том же духе?

– Это все, что я умею, – отозвался Эндерби. – Кропать стишки – все, на что я способен.

Покивав, Арри прикончил свою пинту – четвертую с прихода Эндерби.

– Про спагетти поменьше пищи, – сказал он с пеной на губах. – Оставь спагетти тем, кто хоть что-то в них смыслит. – Он еще раз пожал Эндерби руку. – Пора возвращаться, работенка зовет. Особый ланч для «Дщерей умеренности». – Слова он произнес отдельно, словно с плаката читал. – Береги себя, – посоветовал Арри. От двери он помахал белой поварской рукой и вышел.

Мысли у Эндерби было спутались, завились недоуменными спагетти, он даже успел испугаться. Пока он допивал виски, сердце у него бешено колотилось, но спиртное его успокоило. Неужели он послал стихи миссис Мельдрам? Нет, он точно помнил, что приколот чек к четвертушке писчей бумаги. Но ведь разницы-то особой нет, правда? И все равно могло попасть не в тот конверт. Лучше бы поскорей, поскорей отсюда убраться.

Пока он, пыхтя вдоль набережной, спешил домой собирать вещи, в вышине кружили, орали чайки, карабкаясь по синей стене зимнего дня у моря. Вот уже два дня кряду он забывал их кормить. Они пикировали и взмывали и громко жаловались. Жадные стеклянные глазки. Неблагодарные твари. Они не кричали Эндерби «до свиданья»: в ожидании положенного хлеба они будут ждать его севернее или южнее по побережью.

## Глава пятая

### 1

Того, что мир назвал бы жизненно необходимым, у Эндерби было немного. Проблема заключалась в ванне стихов. Опустившись перед ней на колени, точно (тут он сардонически рассмеялся) боготворил собственное творчество, он начал охапками переваливать ее содержимое в больший из двух своих чемоданов, отделяя – более или менее тщательно – рукописи от корок сэндвичей, пачек из-под сигарет и цилиндриков давно использованной туалетной бумаги. Но он нашел столько старых стихов, о которых совершенно забыл, поэтому не смог удержаться и удивленно начал читать, а день тем временем клонился к закату. Ему пришлось существенно изменить первоначальный план – теперь его целью было попасть (если Джек позволит) на какой-нибудь вечерний поезд до вокзала Виктория, провести ночь в гостинице, а после полудня спуститься по другой ступице на южное побережье. Ему казалось, он должен жить у моря, которое ему как огромная, мокрая слюнявая мачеха или зеленая догматичная церковь, нуждающаяся в присмотре; море хотя бы неспособно на вероломство.

Поразительно, чего он только не понаписал, особенно в молодости: пародии на Уитмена, Чарлза Даути, попытку перевода *Duino Elegies*<sup>[16]</sup>, лимерики, даже начало пьесы в стихах про Коперника. Был один сонет со смежными рифмами александрийским стихом, датируемый днями его любви и зависти к пролетариату. Он с удивлением и ужасом прочел сестет:

Когда свечерееет, он кончит работу  
и копыт отмоет с рук,  
Сам себе – наконец! – властелин,  
на несколько жалких часов.  
Со вкусом поест и трубку закурит,  
себе единственный друг,  
В сиянье камина покорно внимать газетным  
сплетням готов.  
Выпьет, повздорит «У Льва» в кабачке,  
рубцами налупится вдруг,  
Дома картофелем похрустит – и уснет,  
без страданий и снов.

Ровнехонько в положенный час вернулся Джек, отряхнувший руки от дневных трудов коммивояжера и готовый к встрече с Эндерби. Поэтому от прошлого Эндерби оторвала горилья дробь во входную дверь.

– Выходи, Эндерби, хватит уже! Пора, Эндерби, дело зовет. Выходи и дай тебе вмазать, ты, чертов поэтический зануда!

– Мой нож у тебя? – спросил Эндерби, стоя за терзаемой дверью.

– Твой нож, говоришь? Он в мусорном баке, ты, грязный недотепа. Я из тебя по-честному дух выбью, паскудный ты обманщик. Я по-хорошему тебя предупреждаю, Эндерби. Если не откроешь, я пойду за ключом старушки Мельдрам. Скажу, что ты свой посеял, солгу, как ты солгал, мерзкий ты лжец. Потом войду и тебя прикончу. Поэтому открывай как мужик и дай тебе врезать, мерзкая ты свинья.

Затрепетав от ярости, Эндерби заметался по квартире в поисках какого-нибудь оружия. А тем временем Джек, которому честь по чести полагалось устать на работе, барабанил в дверь и грязно ругался. В ванной взор Эндерби на мгновение смягчился при виде его старого друга, унитаза. Стульчак всегда был немного разболтан: не составит труда содрать его с болта, которым он крепится к чаше.

– Иду, – крикнул Эндерби. – Еще минутку.

Он извинился перед деревянным «О», грубо его отдирая, и пообещал, что вскоре напишет в возмещение небольшую оду. Вооружившись стульчаком, он подошел к двери, распахнул ее и увидел кулаки Джека с запрыганными в них большими пальцами, готовые отдубасить пустоту.

– Так нечестно, – попятился Джек. – Ты отказываешься от честной игры, Эндерби? Я всего-то и прошу справедливых извинений за то, как скверно ты со мной обошелся касательно моей собственности.

– Это ты, Джек? – раздался голос сверху. – Не делай ему слишком больно, милый.

– Не за что мне извиняться! – возразил Эндерби. – И если ты не веришь тому, что я тебе сказал, то должен и принять последствия своего неверия. Я тебе сейчас стульчаком по башке ударю.

– Только не этим, – отозвался Джек, пританцовывая и стараясь пробить защиту Эндерби. – Это смешно и вообще просто неприлично. Ты все в фарс превращаешь.

Эндерби парировал его слабые потуги, с силой нанося удары по запястьям Джека своим деревянным оружием. Он погнал Джека по коридору ко входной двери, мимо двух крапчатых картин на стенах – обе с

изображением шотландских ландшафтов в непогоду. Занеся повыше стульчак, Эндерби изготовился твердым краем врезать по курчавой проволочной голове Джека, но немного не рассчитал, и стульчак, опустившись, скользнул мимо ушей и заключил лицо Джека в раму по форме задницы. Испуганный Джек принялся царапать и драть стульчак, позабыв бить по рукам самого Эндерби, а те все тянули и тянули вниз: смутной целью Эндерби было повалить Джека на пол и запинать ногами.

– Ах ты сволочь! – вопил Джек. – Это нисколько не смешно, свинья ты эдакая!

Он все дергал вверх до гладкости отполированную ягодицами раму, а Эндерби все тянул ее вниз.

– Я и прошу только, – задыхался Джек, – извинения за то, что ты сделал. Извинись, и я тебя отпущу!

Все еще цепляясь за круглый позорный столб Джека, Эндерби развернулся и увидел у подножия лестницы его сожительницу. Одета она была как сценический Гамлет – в черное трико и черную водолазку, под которой ее титьки еще колыхались после спуска.

– Это все из-за тебя! – всхлипнул Эндерби, из последних сил цепляясь за стульчак. – Скажи ему правду!

– Он мне врезал, – ответила она, – а я ничего дурного не сделала. Теперь только честно будет, если он врежет тебе.

– Скажи ему правду! – умирающим голосом крикнул Эндерби.

– С Джеком это ничего не изменит, – ответила она. – Просто нужно, чтобы Джек кого-то избил. Джек такой, понимаешь.

– Пусть извинится! – крикнул все еще обрамленный Джек.

– Не за что мне извиняться! – булькнул исчезающий паек воздуха Эндерби.

– Тогда извинись за то, что сейчас делаешь.

– Я перестану!

Он отпустил стульчак, и, потеряв противовес, Джек полетел спиной в напольную вешалку с зеркалом, врезался в нее и опрокинул, но своего хомута не потерял. Зазвенело разбившееся стекло. Из ящика для перчаток, который внезапно открылся, выплеснулись письма, адресованные и не пересланные тем, кто давно уже и под шумок уехал, а еще – пестрые разноцветные купоны на возврат по пять пенни за каждый пакет стирального порошка.

– Хватит, – попытался сказать Эндерби, согнувшись пополам, точно воздух был тем, что следовало всасывать с пола. – Хватит, – повторил он, видя Джека на полу, все еще в хомуте-стульчаке (отличная получилась пара



опрокинутой вешалке). – На сегодня... хватит...

– Поднимайся наверх, милый, – сказала Джеку сожительница. – Ты с работы устал, наверное. Я тебе славную чашку чаю заварю.

Встав, Джек снял с себя хомут и, все еще тяжело дыша, отдал его Эндерби.

– Ты сегодня получил по заслугам, – сказал он. – Я не из мстительных придурков, Эндерби. Что честно, то честно, вот на чем я стою и падаю. – Он прошелся одежной щеткой с вешалки по своему пальто тускло-сливового цвета. – Больше так не делай, вот и весь тебе мой на сегодня сказ, и пусть это послужит тебе уроком.

Успокаивая, сожительница обняла его и повела наверх. Измученный Эндерби ушел к себе, неся стульчак от унитаза, точно венок победителя. Он очень, очень давно не прилагал таких физических усилий. По меньшей мере час он лежал на полу в гостиной, размышляя, какой грязный тут ковер. Под диваном валялись грецкие орехи и обрывки бумаги. Он лежал, пока часы на городской ратуше вдалеке в холодке январского вечера не пробили семь. Уехать сегодня надежды не было.

Когда он почувствовал себя лучше, то встал с пола и пошел на кухню осмотреть содержимое буфета. Не было смысла – и места – везти с собой полупустые банки и куски сала в бумаге, картошку, ломаные спагетти, горчицу. Достав самую большую кастрюлю миссис Мельдам, он приготовил рагу из мясного паштета, бульонных кубиков, спагетти, оливкового масла, картошки в мундире (с грязной кожурой и всем прочим), маринованного лука, огрызков сыра, хлебных корок, застывшего жира, половинки мясного пирога, сладких пикулей, маргарина и молотых семян сельдерея с солью. В недрах у дальней стенки быстро пустеющего буфета он нашел забытый скелетик куренка, подарок от Арри, – отличное дополнение к трапезе. Оставив рагу булькать на плите, рачительный Эндерби вернулся к разбору и упаковке бумаг.

## 2

Изнуренный дракой, сборами и коловращением вкусов в рагу, Эндерби на следующее утро проспал дольше, чем собирался. Работа по уборке и сбору вещей была не закончена. Оба чемодана были забиты до отказа, но оставалось еще множество рукописей, которые следовало связать и разместить в надежном месте. Зевающий, помятый, с торчащими во все стороны волосами, заварил из оставшейся полпачки чай и остатки кофе.

Забирая от двери молоко, он оставил молочнику прощальную записку, несколько пустых бутылок и чек на предъявителя на пять шиллингов и четыре пенса. Потом выпил одну чашку чаю, а остальное спустил в унитаз – с чувством выполненного долга, какое всегда испытывал, когда знал, что использовал то, что другой, вероятно, растратил бы попусту. Потом он разогрел остатки вчерашнего рагу и опять-таки испытал удовлетворение, когда под кастрюлей внезапно погас газ. И тут ничего не растрчено. Он включил все обогреватели в квартире, съел завтрак, выпил кофе, покурил. После в рубашке и подштанниках (в них он спал, поскольку уже упаковал пижаму) опорожнил мусор из картонной коробки в бак у задней двери. (На улице солнечно, промозглый холод кусается, в вышине вопят чайки.) Саму коробку он выскоблил номером «Фем» (оказалось, непросто вычистить из углов заплесневелые и разлагающиеся картофельные очистки и разбросанные тут и там иероглифы чаинок), застелил ее страницами из того же журнала и плотно набил пригоршнями стихов из ванны, прикрыв сверху журнальными страницами, а после перевязал коробку старыми подтяжками и длинной узловатой цепью, которую соорудил из случайных кусков веревки, какие нашлись в углу под раковиной. Он помыл все тарелки холодной (в силу необходимости) водой и убрал их по местам. Потом холодной же водой мучительно побрился, быстро помылся и облачился в свое повседневное рабочее одеяние, но с с вельветовыми брюками и галстуком. Половина двенадцатого. Скоро, подумал он, можно будет уйти. Ах да, ключи, конечно! Он вышел в коридор, где обнаружил, что кто-то, скорее всего Джек, поставил на место упавшую вешалку, и положил ключи в ящик для перчаток. На конверте, адресованном давным-давно выбывшей миссис Артур Порсерой (на штемпеле дата 8.06.51), он написал чернильным карандашом «КЛЮЧИ ЭНДЕРБИ» и прислонил импровизированную записку к зеркалу. Пока он этим занимался, открылась входная дверь. Внутри заглянул мужчина. Незнакомец будто бы играл в замысловатую игру – искал кого-то повсюду, только не там, где этот кто-то стоит. Его печальный взгляд обшарил весь коридор и потом вдруг нашел Эндерби. Кивнув, он невесело улыбнулся, словно скромно поздравлял себя с успехом и сказал:

– Я случайно не к тому, кого зовут Эндерби, обращаюсь?

Эндерби поклонился.

– Могу я иметь удовольствие переговорить с вами? – спросил мужчина и добавил: – По вопросу поэзии.

У него был жиденький голос Урии Хипа. Роста он был ниже среднего, имел длинное лицо и пушок беловатых волос, одет был в дождевик, а лет

ему было приблизительно как самому Эндерби.

– Вы от кого? – резко спросил Эндерби.

– От кого? – переспросил человек. – Ни от кого, кроме меня самого. А я зовусь Уолпол. И пришел к вам по вопросу поэзии. Тут в коридоре холодно, – добавил он.

Эндерби повел его в квартиру.

Уолпол потянул носом теплый сухой воздух, отголосок кислого запаха вчерашнего рагу, поднятую пыль и только потом заметил собранный багаж Эндерби.

– Уезжаете, да? – спросил он. – Так я едва-едва успел вас застать, правда?

– Мне надо на поезд, – ответил Эндерби. – Уже пора выходить. Вы?..

– О, я быстро, – отозвался Уолпол. – Очень быстро. А хочу я сказать вот что. Я не позволю вам писать стихи моей жене.

Перед глазами Эндерби замаячила, но тут же поблекла совершенно невероятная химера.

– Я ни чьей жене стихов не пишу, – улыбнулся он.

Уолпол достал из кармана дождевика тщательно сложенную стопку разглаженных листов.

– Вот эти стихи, – сказал он. – Посмотрите внимательно, а потом скажите, вы это написали или не вы.

Эндерби наспех посмотрел. Его почерк. Стихи к Тельме.

– Да, я их написал, – признал он, – но не ради себя. Я написал их по просьбе одного человека. По правде сказать, его можно назвать клиентом. Понимаете, я поэт по профессии.

– Если это профессия, – совершенно серьезно ответил Уолпол, – то у нее, наверное, есть правила, так сказать, профессиональной этики? Но важнее другое, профсоюз у поэтов есть?

Эндерби внезапно понял, что впутан в дело о супружеской измене.

– Понятно, понятно, – сказал он, проигнорировав вопросы Уолпола. – Мне правда очень и очень жаль, что так вышло. Я ничего про это не знал. Я еще невиннее Арри. Мне просто никогда не приходило в голову... И Арри, надо думать, не приходило... что Тельма замужняя женщина.

– Миссис Уолпол, – тавтологически произнес Уолпол, – моя жена. Она может зваться или не зваться Тельмой, согласно тому, на смене она или нет. В настоящий момент она не на службе. И как раз в случае с означенным Гарри, – он педантично подчеркнул звук «Г», – вы выступаете лицемером и лжецом, уж простите мне такие слова. – Уолпол поднял руку, словно приносил клятву. – А эти слова я употребляю как ссылку на условности,

каких вы, подобно всякому бюрджоа, вероятно, придерживаетесь. Для меня, так сказать, они истинного значения не имеют, будучи пережитками бюрджоазной морали.

– А я, – чуть ли не в пылу ответил Эндерби, – очень возражаю, чтобы меня называли лицемером и лжецом, особенно в моем собственном доме.

– Очисти свой разум от речей двуличных, – посоветовал Уолпол, который явно был человеком начитанным, и со всеми удобствами расположился, расправив полы дождевика, перед электрокамином. – Вы как раз покидаете сие место, которое на дом не похоже и которое, полагаю, вам не принадлежит, и более того, какое значение оно может иметь в плане воздействия неких слов на конкретные мозги, не важно, произнесены ли эти слова в храме или в сортире, простите мое выражение, или прямо вот тут? – Он подвигал ягодицами, высвобождая ткань брюк из щели между ними.

Упоминание церкви и сортира в одной фразе попало в самое сердце Эндерби, равно как и воззвание к логике.

– Ну хорошо, – сказал он. – В чем же я лицемер и лжец?

– Справедливый вопрос, – признал Уолпол. – Вы лицемер и лжец, – с прокурорской внезапностью нацелил он обвиняющий палец, – потому что прятали собственные желания под плащом другого человека. Да, да! Я говорил с тем мужчиной по имени Гарри. Он признает, что посылал миссис Уолпол жареные потрошка и, в одном случае, угрей – оба блюда она не слишком жалуется, но было ясно, что это было в духе дружбы между коллегами, учитывая, что они работают в одном заведении. Оба рабочие, пусть даже место их работы весьма бюрджоазно. Можете ли вы сказать про себя то же самое?

– Да, – сказал Эндерби. – Нет.

– Так вот, – продолжал Уолпол. – Со слов представителя рабочего класса Гарри я знаю, что адюльтера у него на уме не было. Для него это стало шоком, и я лично видел его шок при мысли о том, что какой-то мужчина может посылать стихи замужней женщине и подписывать их чужим именем, именем человека, который, живя в капиталистическом обществе, не в том положении, чтобы дать сдачи такому, как вы! – И опять же обвиняющий палец выскочил, как язык хамелеона.

– Тогда почему не он лицемер и лжец? – спросил пораженный Эндерби, в ужасе от подобного предательства Арри. – Почему бы вам не поверить мне? Да черт меня побери, я только раз встречался с этой женщиной, и то только для того, чтобы заказать одинарный виски!

– Одинарный или двойной, без разницы, – умудренно ответил

Уолпол. – И известны случаи, когда мужчины, особенно поэты, встречались с женщиной (и я был бы премного вам благодарен не употреблять это слово применительно к миссис Уолпол) лишь однажды или даже в глаза ее не видели и тем не менее писали ей уйму стихов. Был один итальянский поэт, про которого вы, возможно, слышали и который писал про ад, и была одна замужняя женщина. Он писал про ад, мистер Эндерби, а совсем не про то, про что писали вы в тех позорных виршах, которые сейчас держите в руках и которые я попросил бы вас потрудиться вернуть. Вот тут вы писали про ягодицы и груди, а это весьма неприлично. Я потратил время на эти стихи, отложив ради них мое обыкновенное чтение. – Тут Эндерби различил, как из-под умученного акцента Восточного Мидленда прорываются более мощные нотки валлийского. – Это непристойности, – продолжал мистер Уолпол, – которых любой человек, пишущий замужней женщине, должен от всего сердца стыдиться и за которые должен страшиться суда.

– Нелепость какая! – возмутился Эндерби. – Чушь собачья. Я написал стихотворения по просьбе Арри. Я написал их в обмен на одолженный костюм и несколько недоеденных цыплят и индеек. Разве не разумно звучит?

– Нет, – разумно ответил Уолпол. – Не разумно. Вы написали эти стихи. Вы писали про груди и ягодицы и даже про пупки применительно к миссис Уолпол и ни к кому иному. И в том кроется грех.

– Но, черт побери, у нее же они есть, верно? – рассердился Эндерби. – В этом отношении она ничем от других женщин не отличается, так?

– Не мне знать, – сказал Уолпол, останавливая ярость Эндерби мановением руки хормейстера. – Я не дамский угодник. Я должен трудиться. У меня нет времени на пустое увлечение поэзией. Я должен трудиться. У меня нет времени на ветреность и неискренность женщин. Я должен трудиться ночь за ночью после дневных трудов, читая и изучая Маркса, Ленина и других писателей, которые дадут мне возможность помогать моим братьям-рабочим. Можете сказать про себя то же самое? До чего довела вас поэзия? Вот до этого. – Он обвел рукой пыльную гостиную Эндерби. – К чему привело меня мое самообразование?

На собственный вопрос он не ответил. Эндерби подождал, но вопрос был явно риторическим.

– Послушайте, – сказал Эндерби, – мне надо успеть на поезд. Мне очень жаль, что так вышло, но вы же понимаете, что все это недоразумение. И примите мои заверения, что я не имел никакого отношения к миссис Уолпол в светском плане и очень относительное в профессиональном. Говоря «профессиональный», – тщательно добавил

Эндерби, углядев возможное недоразумение, – я, конечно же, имею в виду ее профессию барменши.

– Она за это плату не получает, – покачал головой Уолпол, – это не профессия. Так вот, – продолжал он, – встает вопрос наказания. Думаю, до какой-то степени это дело должно решиться между вами и Создателем.

– Да, да, согласен, – со слишком явным облегчением затараторил Эндерби.

– Так вы согласны? – спросил Уолпол. – Человек более умный и более начитанный, который интересуется политическими учениями, испытал бы искушение задать один простой вопрос. И что это был бы за простой вопрос, товарищ Эндерби?

На столь холодное и пугающее обращение, отдававшее промыванием мозгов и соляными копиями, кишечник Эндерби среагировал чутко: он словно бы разжижился и одновременно изготовился дать о себе знать внушительным порывом ветров. Тем не менее Эндерби храбро сказал:

– Люди, принимающие за основу диалектический материализм, обычно не принимают концепцию божественного как первопричину.

– Отлично сформулировано, надо признать, – ответил Уолпол, – хотя и чуточку старомодно в своей уклончивости. Вы про Бога говорите, товарищ Эндерби, про Бога, про Бога, про Бога! – Он воздел очи горе, то есть к потолку, его рот открывался и закрывался на божественном имени, точно он его ел. – Бог, Бог, Бог, – повторил Уолпол.

Точно в ответ на призыв в дверь постучали.

– Не обращайтесь внимания, – резко сказал Уолпол. – У нас с вами важные дела, нечего тратить время попусту на посетителей. Я это сделал! – сказал он вдруг лукаво. – Я это сумел! – произнес он уже тише, глаза у него сияли откровенным безумием. – Я открыл тезис греха.

В дверь постучали снова.

– Не обращайтесь внимания, – повторил Уолпол. – Так вот, товарищ Эндерби, честь по чести, вы должны теперь задать вопрос «Что такое тезис греха?». Ну же, задавайте! – потребовал он со сдерживаемым бешенством.

– Почему вы не на работе? – спросил Эндерби.

Снова стук в дверь.

– Потому что сегодня суббота. Пять дней будешь трудиться, как говорится в Библии. Седьмой день – для Бога. Шестой – для футбола, распространения слова, наказания и так далее. Давайте же. Спрашивайте!

– Что такое тезис греха? – спросил Эндерби.

– Тезис греха всего сущего, – ответил Уолпол. – Остальные Бога выбрасывали, но я его в самую серединку посадил. Я нашел для него место во

вселенной.

– Какое? – заинтересовался Эндерби, невзирая на рези в кишечнике, страх и стук в дверь.

– А какое еще место, кроме его собственного? Божье место есть божье место, лучше не скажешь. А теперь, – приказал он, – на колени, товарищ Эндерби! Мы вместе помолимся тому самому Богу, и вы будете просить прощения за грех прелюбодеяния.

В дверь постучали опять, на сей раз громче.

– ТИХО!!! – рявкнул Уолпол.

– Не буду я молиться! – возмутился Эндерби. – Я прелюбодеяния не совершал.

– А кто не совершал его в сердце своем? – спросил Уолпол. И подобно картинке со Спасителем из детства, Эндерби указал на свое собственное. – На колени, – велел он, – и я буду молиться с вами.

– Нет, – отрезал Эндерби. – У нас с вами не один бог. Я католик.

– Тем больше резонов, – возразил Уолпол. – **ЕСТЬ ТОЛЬКО ОДИН БОГ, ТОВАРИЩ!** – внезапно взвыл он. – На колени и молитесь, и я умою от вас руки, а вы избавитесь от меня, хотя и не от товарища Всевышнего. Если вы не будете молиться, я стану Псом Небесным и кое-кого из ребят с работы натравлю, и чертовски скоро к тому же, пусть даже вы думаете, что сегодня утром уедете. **НА КОЛЕНИ!** – приказал он.

Эндерби со вздохом подчинился. Колени у него не гнулись и скрипели. Уолпол зрелищно упал на свои – результат большей практики. Глаза он не закрыл, напротив, не спускал их с Эндерби. Эндерби же смотрел на ковчегное золото электрокамина.

– Товарищ Бог, – начал молитву Уолпол, – прости бюрджоазные прегрешения товарища Эндерби, который был сбит с пути истинного похотями тела своего и введен в искушение писать порнографические стихи миссис Уолпол, которую ты знаешь, пусть она упряма и не принадлежит к избранным Твоим. Да прольется на него свет Твой, чтобы он стал благочинным рабочим и добрым членом своего профсоюза, когда таковой будет сформирован. Или еще лучше, заставь его вообще перестать писать грязные стихи и заняться благочинным ремеслом по уместным профсоюзным ставкам и жить в божьей праведности, если такова Твоя воля святая, с какой-нибудь приличной женщиной по Твоему выбору в состоянии святого брака до того времени, пока этот бюрджоазный институт не будет заменен чем-то лучшим и более соответствующим потребностям пролетариата.

Теперь Эндерби увидел, что Уолпол подкупающе улыбается какому-то

видению слева за спиной у Эндерби, приблизительно на уровне оконной рамы. Предположив, что это Бог, Эндерби страха не испытал.

– Вот те на! – сказал Уолпол. – Какие чудеса молитва творит, а? Чертово чудо, вот что это! И в завершение, – стал молиться он, снова устремив взгляд на Эндерби, – заставь этого товарища Твоего перестать волочиться за женщинами и верни его на Твои святые пути на службе бесклассового общества, которое Ты обещал по истечении времени во веки веков рабочих. Спасибо тебе, товарищ Бог, – закончил он. – Аминь.

С кряхтением, стонами и парой-другой задних выхлопов Эндерби поднялся на ноги. В этот момент электрокамин, точно зороастрийское божество, которому помолились и с которым покончили, погас. Эндерби сопя повернулся и тут увидел миссис Бейнбридж. Не ожидая прямого вопроса Эндерби, она помахала ключом в объяснение того, как попала в квартиру.

– В жизни не встречала мужчины, более способного на сюрпризы.

Она казалась эталоном зимней буржуазной элегантности: маленький черный костюм с крошечным белым жабо из кружевной пены, юбка-карандаш, пальто три четверти с воротником из рыси; длинные зеленые замшевые перчатки; тускло-зеленые замшевые туфли; два оттенка зеленого в лиственной бархатной шляпке; изящная, чистая, худощавая, тонко подкрашенная. Уолпол, марксист божий, был просто очарован. Он протянул ей маленькую желтую листовку, а потом, точно вспомнил, дал еще одну и Эндерби. «БОГ ИЛИ КАПИТАЛИЗМ? – значилось на ней. – И то и другое разом не бывает. Н. Уолпол прочтет проповедь на эту ВАЖНЕЙШУЮ тему в Мемориальном зале лорда Джелдона 11 февраля, в четверг. Вход свободный».

– Непременно приходите, леди, – сказал Уолпол, – и его с собой приводите. В нем есть добро, надо только повнимательней приглядеться, как вы сами скоро убедитесь. Трудитесь над ним усердно, сделайте из него приличного человека и заставьте его перестать посылать стихи женщинам, вот в чем ваша задача, я бы сказал, и вы как будто вполне способны с ней справиться.

– Стихи женщинам? – переспросила Веста Бейнбридж. – У него это в привычку вошло, да? – Она наградила Эндерби жестко-мягким зеленым женским взглядом, держа перед собой большую сумку и чуть расставив – в позе модели – ноги.

При всем его теофаническом социализме Г. Уолпол был приличным человеком самых что ни на есть буржуазных добродетелей и теперь, когда грехи Эндерби были отмолены, не хотел поссорить грешника с



нагрянувшей невестой.

– Только иносказательно, так сказать, – забормотал он. – Весьма сексуально активный мужчина, можно сказать... наш мистер Эндерби... с сильными желаниями, которые надобно усмирять, и вы, – добавил он, – сдается, вполне способны с этим справиться.

– Большое спасибо, – ответила Веста Бейнбридж.

– Послушайте, – вмешался Эндерби.

Остальные двое приготовились слушать. Эндерби в сущности сказать было нечего.

– В его стихах, – сказал Уолпол, – пусть и не в личной жизни, если понимаете, о чем я. Вот где вступаєте вы, товарищ-мадам, чтобы привить ему чувство реальности. Пусть Бог всех рабочих благословит ваш союз до того времени, пока общество не придумает чего получше.

– Большое спасибо, – сказала Веста Бейнбридж.

– А теперь разрешите откланяться, – весело изрек мистер Уолпол. – Мне очень понравилась наша с вами небольшая диалектическая беседа, и, надеюсь, нас ждет еще много таких. Не трудитесь меня провожать, я сам найду дорогу. Да хранит вас Бог, – повернулся он к Эндерби. – Вам нечего терять, кроме ваших цепей.

Благословив сжатым кулаком Эндерби и его предполагаемую нареченную, он с улыбкой вышел. Эндерби и его предполагаемая нареченная остались вдвоем слушать его удаляющиеся шаги и веселый свист.

– М-да, – протянула Веста Бейнбридж.

– Вот тут я и живу, – объяснил Эндерби.

– Вижу. Но если вы тут живете, то почему переезжаете?

– Я не совсем понял. Не могли бы вы повторить?

– Это я вас не понимаю. Вы посылаете мне письмо, рискну сказать, письмо в стихах, пестрящее весьма недвусмысленными намеками, потом пугаетесь и решаете сбежать. Неужели все действительно так просто? По всей очевидности, вы думали, я получу письмо не раньше утра понедельника, поэтому создается впечатление, что вы планировали атаковать и отступать разом. Только вот я всегда прихожу в редакцию утром в субботу проверить почту и сегодня обнаружила, что бумага едва не тлеет от ваших скромных трудов. Я тут же села в поезд. Я была озадачена, заинтригована. А еще встревожена.

– Встревожены?

– Да. Из-за вас. – С морщинкой отвращения она потянула носом воздух гостиной. – И, как вижу, оснований для тревоги немало. Здесь у вас суций

хлев. Разве никто не приходит убираться?

– Я сам убираюсь, – ответил Эндерби, который внезапно и со стыдом осознал убогость собственной жизни, еще более очевидную на фоне ее пугающего благополучия. – Более или менее. – Он, как школьник, понурился.

– Вот именно. И что, Гарри, если можно так вас называть... Пожалуй, теперь я должна так вас назвать, верно? Что вы предлагаете делать? Куда вы собираетесь поехать?

– Меня зовут не Гарри, – сказал Не-Гарри Эндерби. – Это просто имя в конце стихотворения.

– Ну разумеется, я знаю, это не может быть вашим именем, поскольку в ваших инициалах нет буквы «Г». Однако вы подписались «Гарри», и Гарри вам как будто подходит. – Склонив по-птичьи голову набок, она осмотрела его, точно Гарри был шляпой. – Повторяю, *Гарри*, что вы собираетесь делать?

– Не знаю, – несчастно ответил псевдо-Гарри Эндерби. – Все надо было продумать, понимаете? Куда ехать и все такое. Что делать и так далее.

– Несколько дней назад, – сказала Веста Бейнбридж, – я напоила вас чаем, и вы ответили приглашением на обед, которое я не смогла принять. Думаю, было бы неплохо, если бы вы повели меня куда-нибудь на ланч. А после...

– Есть одно место, куда я вас не поведу, – сказал преданный и разгневанный Эндерби. – Это уж точно. Меня это отравит. Я там подавлюсь. Каждым куском буду давиться.

– Хорошо, хорошо, – успокоила Веста Бейнбридж. – Поведете меня, куда пожелаете. А после я отвезу вас домой.

– Домой? – со внезапным страхом переспросил Эндерби.

– Да, домой. Дом, дом, милый дом. Ну, знаете, место, к которому сердце лежит? Место, которому нет равных. О вас нужно заботиться. Я отвезу вас домой, Гарри.

## Часть вторая

## Глава первая

### 1

– Эйэrr-эrrrrrrп.

Эндерби сидел в крошечном сортире, его тошнило. А еще он был женат – совсем недолго. Эндерби, женатый человек. Блюющий молодожен.

Когда лоб чуть перестал пылать, он со вздохом сел на маленький стульчак. Стояла июльская погода, ведь июль самый подходящий месяц для свадеб. Один в этой гудящей и жужжащей уборной, он впервые улучил минутку испытать удовлетворение и одновременно легкий страх. Невеста, пусть даже и в строгом костюме, уместном в отделе актов записи гражданского состояния, выглядела очаровательно. Сэр Джордж так сказал. Сэр Джордж снова был сама благостность. Все прощено.

Практически первым, на чем настояла Веста, были извинения перед сэром Джорджем. Эндерби написал: «Мне очень жаль, если показалось, что я держу Ваше Сэрство за старого дурня, но я думал, вы оцените это легкое проявление мятежа. Ведь Бог свидетель, вы сами попробовали себя в нашем ужасном, мучительном искусстве, и хотя как поэт вы не стоите даже пуканья рифмоплета, но все же в состоянии понять, что движет поэтом и как он ненавидит руку, пустословием отягощенную...» Но она сказала, что это не вполне подойдет, поэтому он выдавил из себя кое-что покороче и настоящей прозой, а сэр Джордж был только счастлив принять официальные, сквозь зубы извинения.

О, эта женщина определенно начала перекраивать его жизнь. С самого начала, с первого совместного завтрака в большой столовой ее большой квартиры, за стенами которой угрюмилась февральская Глостер-роуд, стало очевидно, что исход возможен только один. Ведь какие еще отношения могут быть признаны в глазах света, нежели узы, которыми они недавно себя связали? От отношений жильца с домохозяйкой Эндерби был вынужден отказаться, поскольку за жилье не платил. Никаких иных, помимо сводных или, так сказать, из вторых рук (как с мачехой), Эндерби никогда не знал, зато в Весте ценил, что своими чистотой и красотой она – полный антипод любой мачехи. Второй брак отца привнес в жизнь маленького Эндерби краткие набегі сводных теток и сказку про образцовую сводную сестру, слишком хорошую для сего бренного мира и потому вскоре скончавшуюся от ботулизма: ее Эндерби всегда представлял

себе марионеточной пародией мачехи. Но Весту никак не представишь в роли сводной сестры. Подруга? Он покатал слово во рту, почувствовал его на языке (с прописной буквы, со строчной и даже курсивом) и посмаковал меланхоличную акварельную картинку: утонченная пара, словно с линогравюр Блейка, Шелли и Гудвин<sup>[17]</sup> дает вечера с декламацией на яхте, кругом глупенькие леди в платьях с высокой талией, любительницы готических романов, а карлики пиликают в печальных сумерках на скрипочках. Эпипсихидион<sup>[18]</sup>. Эпиталамион<sup>[19]</sup>. О боже, с этого слова все и началось, поскольку оно породило стихотворение.

Крик в облаках. Птиц перелетных стая.  
Небеса планеты далекой. Семь ее лун —  
Яшма, карбункул и оникс, аметист, рубин,  
бирюза, халцедон.  
Что еще? Солнца двойные, —  
Грызутся, как львы, огонь источая,  
невыносимый для нас,  
Сплетаются, извиваясь, сливаясь  
В беспозвоночной любви, где плавится слово «я»  
В первопричинном счастье Творца,  
Еще не создавшего мир,  
Две звезды на одной орбите...

Они как раз выпили за завтраком чай «Оранж Пеко», и она в костюме цвета ржавчины с тяжелой заколкой из кованого олова со свинцом на левом лацкане ушла на работу. На кухне, пастельная красота которой заставляла его чувствовать себя особенно грязным и грузным, Эндерби поставил чайник, чтобы заварить мачехин чай, и от слова «эпиталамион», как от объявления о прибывающем поезде, задрожали половицы. Пыхтя за обеденным столом, он спешно записывал слова, видя свою нарождающуюся поэму как песнь в честь консуммации в зрелом возрасте: Гертруда и Клавдий в «Гамлете», обрамленные рыжей бородой губы на белой шее вдовы. Рядом стыл на столе листовой чай. Пришла уборщица миссис Описсо, смуглая, широкобедрая, грудастая, чесночно пахнущая, усатая, сверкающая улыбкой военная беженка из Гибралтара, в чьей крови бурлили генуэзские, португальско-еврейские, сарацинские, ирландские и андалузские гены, и, прервав подметанье, спросила:

— Кто вы в этом доме, а? Не выходите, не работаете, верно? Кто вы ей,

а? Говорите-ка.

Объяснить было непросто: недостаточно было сказать, что это не ее, уборщицы, дело.

Набухший млеком и медом,  
Здоровый и крепкий вечер запускает ракеты,  
И ракеты взлетают над юбилеями богачей,  
В тысячах парков страны,  
Что светит миру с уютного ложа...

Даже если Веста узнает, то не обязательно решит, что в эпиталаме речь о ней самой и ее госте-друге-протее, ведь она уже сардонически бросила:

– Если собираешься писать по утрам любовные стихи, постарайся не послать их по ошибке сэру Джорджу. Твоя небрежность однажды до беды тебя доведет, помни мое слово.

Эндерби в ответ только понурился. Тем утром она была раздражительной, нервной, устало терла лоб, точно в телерекламе быстродействующего анальгетика, под ее зелеными глазами залегли тонкие голубые круги измученности. Она стояла у двери, в подтянутой ржавчине, шифоновый шарф двух оттенков зеленого, крохотный коричневый берет, коричневые замшевые перчатки под стать туфлям, стройная, элегантная и (как про себя догадался Эндерби) безмолвно менструирующая.

– Все женщины по-разному переносят менструацию, сама знаешь, – сказал Эндерби. – Попробуй джин с горячей водой. Говорят, творит чудеса.

Она чуть покраснела.

– Откуда ты это узнал?

– Из «Фем».

– Все так запутано, – сказала она со вздохом. – Когда у меня будет время, надо будет разобраться в природе наших отношений.

О, окропи же корабль вином! Пусть в водах  
пространных,  
Что носят кольцо это, коим смиряет земля  
Себя вдалеке от больших городов, он бродит  
и пляшет...

И в другой раз (точная природа отношений так и не выяснена):

– Вопрос в том, что с тобой делать.  
– А со мной надо что-то делать?  
– Да в том-то и вопрос.  
– Ничего со мной не надо делать. – Он испуганно посмотрел на нее поверх кусочков разломанного тоста, которые по одному, точно кормил любимую птичку, клал себе в рот. – В конце концов я поэт.  
Ответом внешнего мира стал задний выхлоп грузовика.  
– Хотелось бы знать, – сказала Веста, грея холодные по утру руки о чашку, – сколько в точности у тебя денег.  
– Зачем тебе это знать? – спросил проницательный Эндерби.  
– Да брось. У меня занятой день впереди. Давай оставим эту чушь. Пожалуйста.  
Эндерби тогда начал перечислять содержимое левого кармана штанов.  
– Не таких денег, – резко прервала она.  
– Десять тысяч фунтов в облигациях локальных правительственных займов под пять с половиной процентов. Для дивидендов. На две тысячи фунтов акций «Института инвестиций», «Бритиш моторз» и «Батлинз». На приращении капитала.  
– А. И какой доход это дает?  
– Около шести сотен. Не так уж и много, да?  
– Вообще ничего. И полагаю, со стихов ты имеешь меньше, чем ничего.  
– Две гинеи в неделю. Из «Фем», благослови его бог.  
Ведь в конечном итоге он подписал контракт и уже видел в печати под псевдонимом Вера Верная рифмованные помои, начинавшиеся с «Щечки да ручки младенчика – гимны благие, от беззубой улыбки улыбнутся святые...».  
– Такой доход, как у тебя, даже иметь не стоит, право слово. Значит, надо решить, что с тобой делать.  
– А что со мной делать? – тут же вспыхнул Эндерби.  
– Послушай. Я знаю, что ты поэт. Так ли уж надо потчевать меня поэтической драмой в духе раннего мистера Элиота? Только не за завтраком.  
– Стихомифия, – прокомментировал эрудированный Эндерби. – Но ты сама всякий раз разговор заводишь.  
Так-то вот, близится, грядет неведомое: оплачиваемая работа, *deuxième métier*<sup>[20]</sup> для поэта. Со дня святого Валентина до Пятидесятницы ему было позволено, пусть и не в уборной, мирно трудиться над «Ласковым чудовищем». Но после медового месяца все переменится.

Ты, чей страх географических карт  
Вдохновляет долгий парад демонстрации силы,  
Раскинь свои руки в объятьях, прими отважно  
Дружелюбные (или хотя бы просто нейтральные)  
Образы бывших врагов...

Его собственных денег, даже до того, как начались наиважнейшие покупки, мало на что хватало («Позвони в «Льва», ладно, и закажи пару бутылок джина. Заплати миссис Описсо, у меня нет ни копейки наличных».) Раззявились алчные пасти «Фортнума и Мейсона»<sup>[21]</sup> или «Арми энд Нейви». И новый гардероб для него самого, поскольку Лондон не жалуется небрежную одежку приморского ипохондрика. Капитал Эндерби таял. А расточительная шотландка не умела ценить деньги и верила только в вещи, которые можно потрогать. Отсюда дом за семь тысяч фунтов в Сассексе на ее имя (по брачному договору) и новая мебель, а еще новенькая «Воксхолл Велокс», чтобы Веста могла ее водить – даже в самом трезвом своем состоянии Эндерби управлялся с автомобилем как самый горький пьяница. И норковая шуба в подарок на свадьбу.

Кто и когда предложил руку и сердце? Кто кого любил, если вообще любил, и почему? Сидя в позе мыслителя на унитазах, Эндерби хмурился и вспоминал вечер, когда он заканчивал эпиталаму в столовой лицом к предмету обстановки, которым особенно восхищался – серванту, массивному и покоробленному, с гордо высеченной датой рождения (1685) среди резных ромбов и прочих тропов, фантазий краснодеревщика, знаменующих его любовь к величественному корабельному дубу, которому он придал форму и гладкость. Над сервантом красовался портрет Весты работы Гидеона Долглейша: жемчужноплечная и надменная в бальном платье, она как будто собиралась улететь, испариться, вернуться в невидимые, но бдительные тюбики краски. Над стеллажом висела фотография покойного Пита Бейнбриджа. Весь из себя красивый, он улыбался в шлеме, за рулем «Ансельма» 2,493 литра (шесть цилиндров, 250 лошадиных сил, дисковые тормоза Гирлинга, сертифицированные карбюраторы Уэбера 58 и т. д.), в котором встретил свою кровавую смерть. Эндерби взялся за последнюю строфу.

Даже мертвые с синими лицами могут побывать  
на этом пиру,



Прошмыгнуть, будто мыши иль птицы,  
по коридорам,  
Обвешанным неразличимыми уже гербами...

Он испытал внезапный и нежеланный порыв личной (в противоположность поэтической) силы: он, недостойный и непривлекательный, жив, а этого элегантного и одаренного красавца разнесло на куски. Он изогнул губы, позаимствовав контур улыбки у мертвеца, со своего рода триумфом. Веста, читавшая на «Паркер-Нолле»<sup>[22]</sup> новый гениальный роман какого-то студента-старшекурсника, подняла глаза и перехватила улыбку.

– Чему ты улыбаешься? Написал что-то смешное?

– Я? Смешное? Да что ты! – Эндерби прикрыл рукопись неуклюжими лапами – так защищают обеденную тарелку от назойливой добавки картофельного пюре. – Совсем ничего смешного.

Встав – ах какая изящная! – она подошла посмотреть, что он пишет. Даже спросила для верности:

– Что ты пишешь?

– Это? Тебе едва ли понравится... Это... Ну, своего рода...

Взяв лист с каракулями, она прочла вслух:

По крайности, мы оба способны отрицать,  
Что есть у прошлого запах. Можем хоть присягнуть,  
Что корни терпения и желания – в парадигме  
единой.  
Услышать в музыке,  
Что вся вина земли, совсем как воздух,  
Окутала тела живые.

– Понимаешь, – бросился объяснять Эндерби, – это эпиграма. По случаю свадьбы двух зрелых людей.

Необъяснимо, но она наклонила голову (на него пахнуло сладким запахом волос цвета пени) и его поцеловала. Поцеловала его! Его, Эндерби!

– Твое дыхание, – сказала она, – уже не такое нездоровое. Иногда телу и разуму бывает трудно примириться. И выглядишь ты лучше, гораздо лучше.

Что ему оставалось сказать, кроме:

– Благодаря тебе.

Страдая от морской болезни в воздухе, сидя в крошечном сортире высоко в небе, он вынужден был признать, что за весну и первые недели лета возник и оперился новый Эндерби: помолодевший Эндерби, у которого меньше жира и газов, у которого новые зубы, достаточно несовершенные, чтобы казаться настоящими, у которого несколько новых модных костюмов, а волосы умело уложены гелем, Эндерби, который незаметно благоухает туалетной водой, который уже не так неловок на людях, у которого более здоровый аппетит и нет диспептической тяги к пикулям и хлебу с джемом, который тщательно выбрит, у которого более чистая кожа, а глаза стеклянисто блестят от контактных линз. Видела бы его миссис Мельдрам теперь!

Кто говорил про любовь? Про любовь кто-нибудь говорил? Они жили под одной крышей целомудренно, как весталки, как феникс и черепаха, а Пит Бейнбридж улыбался с Елисейских Полей для гонщиков странному *ménage*<sup>[23]</sup> друзей. Но надо было только подбросить и запустить по навощенному полу истертую монетку, чтобы она, звякая все музыкальнее и громче, укатилась в мир. Из кармана она выпала или из сумочки? Эндерби не помнил, но был уверен, что однажды вечером один из них произнес слово «любовь» по какому-то поводу: то ли понося его чрезмерную раздутость в шлягерах или в хриплых восклицаниях физического влечения, а возможно, обсуждая его отождествление с Господом в религиозной поэзии XVI века. Случившееся потом – материя слишком тонкая и иррациональная, а потому не поддается анализу: тот или другая свистнул голубку-ястреба спуститься с безопасных высот домыслов и приземлиться, моргая, на пару сплетенных рук.

– Я была так одинока, – сказала она тогда. – Мне было так холодно по ночам.

Эндерби, потенциальная постельная грелка, так и оставался потенциальным, поскольку все время до начала медового месяца они по-прежнему хранили целомудрие. До сегодняшнего вечера. До сегодняшней ночи в гостинице «Тритон» на виа Национале. Такое (Эндерби сглотнул) положено предвкушать.

– Эй вы там! – окликнул голос, имея в виду «послушайте».

Встрепенувшись на крошечном унитазах, Эндерби стал слушать.

– Ваш билет не дает вам права монополизировать туалет.

Недурно сформулировано, подумал Эндерби. Акцент был американский, а голос – властный, и Эндерби поспешил уступить место, более или менее уверенный, что ему уже лучше. За складной дверью он

сделал глубокий вдох, рассматривая крупного туриста, который, протискиваясь мимо, кивнул ему. У того было лицо цвета стейка и две камеры – для фото и для видеосъемки – на пузе. Интересно, он и сортир тоже сфотографирует? За стеклом иллюминатора сияло летнее облако. Эндерби прошел к молодой жене, невозмутимой и очаровательной, которая рассматривала это самое облако внизу. Подняв глаза, она улыбнулась и спросила, лучше ли ему. Когда он сел, она подала ему руку. Казалось, начиналась новая жизнь.

## 2

Чувствуя себя словно в отлично оборудованной ванной, Эндерби поражался обилию жиденьких ощущений, пока самолет спускался к Риму (снижаемся... Вечный город: паста, древний мусор, монументальные руины, каменные здоровяки с фиговыми листками, телятина, Ватикан, лестницы в подвалы и кости мучеников; все пронизано колокольным звоном, освежено фонтанами; удачи). Его прошиб холодный пот, когда желудок, замешкавшийся со спуском, подстегнул хозяина взглянуть на Рим в контексте мачехи (папа римский с картинки на стене в спальне благословляет семь холмов; полупрозрачный силуэт собора Святого Петра на подвешенном к четкам цвета бланманже крестике; отпечатанная в Риме закладка в молитвенник, на которой, приняв облик семьи среднего класса, Святое семейство пожирает спагетти). Но его согрел прилив радостного возбуждения, и гусиная кожа на руке, сжимавшей пальцы молодой жены, снова разгладилась, когда на экране «Международных новостей» всплыла грудастая старлетка, плещущая забавы ради в фонтане Треви. Кроме нее показывали усталых красивых князей, погрязших в бракоразводных процессах. Чинечитта по территории оказалась больше Ватикана. Все хорошо и будет хорошо, чувственно, волнующе. Он с гордостью глянул на молодую жену и испытал похожий на смутный слух о войне укол желания, законного желания: в мгновение ока она уподобилась этому новому городу, который полагается – совершенно законно – покорить и подмять.

С армейских времен на Сицилии всплыли несколько слов, и он сказал:

– Io ti amo<sup>[24]</sup>.

А она улыбнулась и сжала его руку. Эндерби, галантный любовник-латинянин.

Тепло, возбуждение, чувство омоложения пережили посадку (стюардесса ухмылялась у трапа, словно самолично после воздушной

гестации разродилась аэропортом; американец, выселивший Эндерби из туалета, отчаянно щелкал камерой). Пока пассажиры разрозненной процессией шли к далеким зданиям аэропорта Чампино, распростертого под медовомесечным зноем, Эндерби почудилось, что голое, как чистый лист, взлетное поле символизирует его новую свободу, то есть свободу от его старой свободы. Худощавый, как Кассий, и, как Каска, угрюмый, римский таможенник грубо открыл дорожную сумку Весты и достал всем напоказ новую ночную рубашку. Он мрачно подмигнул Эндерби, и Эндерби это показалось добрым знаменем, пусть даже у таможенника были впалые щеки, что не внушало особого доверия. Тряся пассажиров по Аппиевой дороге, толстый водитель автобуса распевал какую-то заунывную маслянистую арию, в которой часто повторялась «любовь», и тем внушал доверие. Потом – вжик! – снова ушат холодной воды, когда солнце зашло за облака над замшелым акведуком, встающим руинами из сухой травы, и над древней колонной, лежащей как большая кашка под рекламой бензина в цветах комикса. Туалетный американец кормил свои камеры, как декоративных собачек. Тем временем на Эндерби обрушилось ощущение, что они едут по мясному ряду захудалой истории, между ребрами ободренных туш, и им уже насильно скармливают куски имперской падали. На периферии зрения потихоньку вырастали трибуны, а на них рассаживался сенековский хор ухмыляющихся безносых римлян, разжиревших на крови гладиаторов и раздачах сицилийского зерна. Они тоже примут участие в медовом месяце, ведь это их город.

Внезапно – пожаром на паточном заводе – прорвалось солнце; автобус как раз остановился у аэровокзала на виа Национале. Карлик-носильщик исполинской силы целый квартал нес их чемоданы до гостиницы, и Эндерби дал ему на чай несколько слишком легких, подозрительных монет. С поклонами и приветствиями, с неискренними золотыми улыбками обслуга проводила их в вестибюль.

– Синьор Эндерби, – сказал синьор Эндерби, – и синьора Бейнбридж.

– Нет, нет, нет, – возразила синьора Эндерби.

Эндерби улыбнулся.

– Еще не привык, видите ли. У нас медовый месяц, – объяснил он портье.

А щеголеватый римский эльф ответил:

– Медовый месяц, да? Я позабочусь, чтобы вам никто-никто в медовом месяце не мешал, – и добавил с сожалением: – У меня медовый месяц был давным-давно.

– Знаешь, мне что-то нехорошо, – сказала Веста. – Как по-твоему,

можно нам сразу пойти в...

Тут же зазвенели звонки, люди вокруг суетились, вскидывая чемоданы на плечи.

– Дорогая, – заботливо начал Эндерби. – В чем дело, дорогая?

– Устала, вот и все. Мне бы прилечь.

– Дорогая, – повторил Эндерби.

Они вошли в лифт, и воздушная клетка, сплошь рококо и филигрань, вознесла их на этаж, вымощенный мрамором с прожилками. Эндерби с интересом поглядел на открытую римскую уборную, но отмел любопытство. Те дни позади. В номер их провел молодой человек в винного цвета куртке и с расплюснутым носом – в опровержение мифа о римских профилях. Эндерби дал ему несколько никчемных кусочков металла и заказал vino. (Эндерби в Риме, Эндерби заказывает вино!) Молодой человек бешено сжал самому себе руку, потом напряженно и стиснув зубы, точно поднимал убийственный вес, воздел правую и показал Эндерби обозначенное таким образом пространство – невидимую бутылку с рукой-дном и рукой-горлышком.

– Фраскати, – грозно рявкнул он и ушел, кивая.

Эндерби повернулся к жене. Она сидела на двуспальной кровати со стороны окна, глядя на виа Национале. Комнатка наполнилась шумом снизу: лязганьем трамваев, цоканьем лошадиных копыт, ревом «фиатов» и «ламбретт».

– Устала, устала, устала... – произнесла Веста. Под глазами у нее опять залегли голубые полукружья, лицо в резком римском свете казалось измученным. – Мне что-то совсем нехорошо.

– Это не?.. – спросил Эндерби.

– Ну конечно нет! Это ведь день нашей свадьбы, разве нет? Все наладится, надо только отдохнуть.

Она сбросила туфли, потом (Эндерби сглотнул) быстро отстегнула чулки. Он повернулся к скучному виду за окном: угрюмость мегаполиса, ни вспышек белозубых улыбок, ни песен. На другой стороне, точно специально ради Эндерби, приютилась витрина магазинчика с образками по дешевке и скверно раскрашенными житиями в гирляндах четок. Когда он снова повернулся к кровати, Веста уже легла, выпростав худые руки и плечи из-под покрывала. Не самая пышная женщина, ее тело обстругано до приемлемого женского минимума. Так и должно быть. Эндерби однажды мельком видел в ванной голую мачеху: задыхаясь от натуги, она (что бывало нечасто) мылась целиком: плоть тряслась, толстые титки раскачивались колоколами. Его передернуло от воспоминания, и его

трясущиеся губы на мгновение уподобились мачехиным, кривящимся от прикосновения холодной губки.

В дверь постучали. Эндерби читал Данте с подстрочным переводом; ему помнилось, что была там какая-то строка со словом «войти». Нырнув за ней, он выловил ее, как раз когда дверь открылась.

– Оставь надежду, – окликнул он на тосканском, – всяк, сюда...

Внутри с сомнением заглянул длиннолицый официант, потом вошел с подносом и оставил его, не дожидаясь чаевых. Сумасшедший англичанин Эндерби вздохнул и разлил по бокалам вино. Не следовало такого говорить. Это дурное знамение – как у Байрона, который проснулся в свою брачную ночь и принял огонь в камине спальни за адский.

– Дорогая, – сказал он. – Хочешь бокал вина, дорогая?

Сам он жадно отхлебнул. Очень даже недурное легкое винцо.

– Поможет тебе уснуть, если хочешь поспать.

Она устало кивнула. Эндерби налил еще бокал, золотая моча вспыхнула в ясном свете и булькнула, когда покидала бутылку. Он протянул бокал Весте, и та приподнялась отпить. А на верхней губе у нее, оказывается, светлые волоски, заметил Эндерби с любовью и жалостью, обнимая ее за плечи. Она выпила половину бокала и отреагировала – к ужасу и шоку Эндерби – сразу и бурно. Оттолкнув его и стакан, она, надув щеки, сорвалась с кровати. Пробежав босиком к раковине, она схватилась за ее края, застонала, и ее стошнило. Весьма озабоченный Эндерби последовал и стоял рядом с ней, стройной и такой беззащитной в скудном и несоблазнительном летнем нижнем белье.

– Это твой ланч выходит, – сказал он, наблюдая. – Жирноват был чуток, да?

С ревом вышла еще часть ланча. Эндерби налил воды из бутылки.

– О боже, – простонала она. – Господи Иисусе! – Открыв оба крана, она снова начала рыгать.

– На, выпей. Это просто вода.

Она отхлебнула из протянутого стакана, и ее снова стошнило, но на сей раз по большей части водой. Между спазмами она стонала и кощунствовала.

– Ну вот, – утешил Эндерби, – теперь тебе станет лучше. Жуткий пудинг они подавали. Весь такой липкий и клейкий.

– О Господи Иисусе! – рыгнула Веста (совсем уже липкая).

Эндерби, в прошлом магистр по части расстройств пищеварения, доброжелательно смотрел, как она извергает из себя содержимое желудка. Потом слабая, мокрая, обмякшая, израсходовавшая себя, она, пошатываясь,

добрела до кровати.

– Хорошенькое же начало! – охнула она. – О боже!

– Это самое худшее в самолетной кормежке, – сказал Эндерби, умудренный первым в своей жизни перелетом. – Они еду разогревают. Понимаешь. Выпей еще вина. Оно успокоит тебе желудок. – И зачарованный почти-рифмами, начал повторять: – Успокоит-упокоит, упокоит-усмирит, – выхаживая по комнате, сунув одну руку в карман, а в другой держа бокал.

– О боже... Помолчи! – застонала Веста. – Оставь меня в покое.

– Да, дорогая, – услужливо согласился Эндерби. – Непременно, дорогая. Ты немного поспи, дорогая. – Услышав свои слова, он понял, что пресмыкается, как иностранная шлюха, поэтому распрямился и добавил уже резче: – Пойду разберусь с дорожными чеками.

Произнес он это, стоя у самой двери, точно бросал ей вызов, поэтому когда раздался стук, открыл сразу. С порога на него удивленно воззрился длиннолицый малый с охапкой красных и белых роз в руках.

– Fiori, – сказал он, – per la signora<sup>[25]</sup>.

– От кого? – нахмурился Эндерби, нащупывая сопроводительную карточку. А найдя, выдохнул: – Боже ты мой! Утесли! Утесли в баре. Дорогая, – окликнул он, поворачиваясь.

Но дорогая спала.

### 3

– Ага, – сказал Утесли. – Вы получили записку? Вы получили цветы? Хорошо. Где же миссис Эндерби?

Выглядел он точно так же, как в тот раз, когда Эндерби с ним познакомился: плотный старомодный костюм с золотой цепочкой для часов, киплинговские усы, глазки-жуки, пьян.

– Миссис Эндерби, – ответил Эндерби, – в могиле.

– Прошу прощения? Уже? Римская лихорадка? Как по-джеймсовски!

– А, понимаю, о чем вы. Прошу прощения. Видите ли, миссис Эндерби она стала только сегодня. К этому надо привыкнуть. Я думал, вы говорите про мою мачеху.

– Понятно, понятно. Так ваша мачеха мертва? Как интересно!

Эндерби робко оглядел бар: полки заставлены ликерами со всего света, серебристый титан для воды, кофемашина. Толстяк за стойкой то и дело кланялся.

– Выпейте чуток вот этого ликера Стрега, – сказал Утесли. – Данте! – позвал он, и совсем недантовский толстяк вытянулся по струнке.

Тут Утесли заговорил на изощреннейшем итальянском, полном, насколько мог судить Эндерби, сослагательных оборотов, но с чудовищным английским акцентом.

– Стрега, – повторил Данте.

– Вы и во всех итальянских антологиях тоже? – гаденько спросил Эндерби.

Данте, ставя перед ним стрегу, кланялся и расшаркивался.

– Ха-ха, – без особого веселья хохотнул Утесли. – Если уж на то пошло, есть очень недурной перевод на итальянский того моего стихотвореньица, знаете ли. Итальянский ему идет. Ну же, Эндерби, расскажите, что сейчас пописываете?

– Ничего. Я заканчиваю большую поэму. «Ласковое чудовище». Я про нее вам рассказывал.

– Конечно, конечно, рассказывали, – согласился, кланяясь, Утесли. Данте тоже поклонился. – Очень даже славная у вас идея. Жду не дождусь, когда смогу прочесть.

– А вот мне бы хотелось знать, что вы тут делаете. По вашему виду не скажешь, что вы на отдыхе. Только не в таком костюме.

Тут Утесли выдал жест, о каком Эндерби только в книгах читал, а вживе никогда не видел: он приложил палец к носу.

– Вы правы, – сказал он. – Определенно не в отпуске. На работе. Всегда на работе. Еще стрегить?

– За мой счет, – сказал Эндерби. Данте кланялся и кланялся, наполняя им рюмки. – И себе тоже налейте, – сказал Эндерби, щедрый в медовом месяце.

Данте с поклоном спросил Утесли:

– Americano?

– Inglese, – поправил Утесли.

– Americani, – сказал Данте доверительно подаваясь вперед, – fack you. Mezzo Mezzo.

– Un poeta, – сказал Утесли, – вот он кто. Poeta. Женственный по форме, мужской по полу.

– Прошу прощения, – откликнулся Эндерби, – вы на что-то намекаете?

– Если уж на то пошло, – сказал Утесли, – по моему твердому убеждению, все мы, поэты, отъявленные гермафродиты. Как Тиресий, понимаете? А у вас медовый месяц, да? Выпейте еще стрегу.

– Что вы собственно имеете в виду? – настороженно спросил Эндерби.



– Имею в виду? А вы все смысл ищете, да? Смыслы смысла. Ричардс и Кембриджская школа. Чушь собачья, если хотите знать мое мнение. Оставим это. Если выпьете со мной еще стрег, я выпью еще стрег с вами.

– Стрега, – повторил название ликера Эндерби.

– Ваш итальянский все лучше и лучше, – сказал Утесли. – У вас тут парочка очень славных гласных. А вот и пара славных стрег, – сказал он. – Благослови, боже, всех. – Он выпил, он пропел: – Кто захочет Эндерби, Бендерби, Кэмберли, на хрен, милый Эндерби... Ну, или милый Августин.

– Откуда вы узнали, что мы здесь? – спросил Эндерби.

– В аэропорту узнал, – ответил Утесли. – Список прибывающих из Лондона. Всегда полезно почитать. Вот здесь пишут про медовый месяц. Удивительно, Эндерби, в вашем-то возрасте.

– Что вы имеете в виду? – в который раз спросил Эндерби.

– Стрегу джентльменам за счет заведения? – чудовищно коверкая английские слова, промурлыкал Данте.

– Tante grazie<sup>[26]</sup>, – отозвался Утесли. – И опять вы, Эндерби, переживаете из-за смысла. – Встав и вытянувшись во фрунт, он пропел: – Затес ли, утес ли, принес ли черт? И кого же? Боже храни королеву. Хотите смысла? Да нет тут никакого смысла. Занос ли, понос ли... Так еще лучше. В вашей поэзии слишком много смысла, Эндерби. Всегда было. – Тут его речь прервало пьяное рыгание. – Прошу прощения, как говорится, за мой французский. – Он выпил.

– Strega, – сказал Эндерби. – E uno per Lei, Dante<sup>[27]</sup>.

– Нельзя вам так говорить, – сквозь икоту произнес Утесли. – Ну и жуткий у вас итальянский, Эндерби! Такой же скверный, как ваши стихи. Прошу пардону. Нелицеприятная критика. А вот ваша мыслишка с чудовищем чертовски хороша. Слишком хороша для поэмы. Ах, Рим! – ударился в лирику он. – Прекрасный, прекрасный Рим! Удивительное место, Эндерби, второго такого не сыщешь. Слушайте, Эндерби, я сегодня приглашен на прием. В доме княгини такой-то или сякой-то. Хотите пойти? Супружницу с собой прихватите? Или вам надлежит пораньше удалиться сей прекрасной брачной ночью? – Он покачал головой. – Ларошфуко или какой-то еще чертов пройдоха сказал, что в первую ночь этим нельзя заниматься. Да что он понимал, а? Все они гомосексуалисты. Все писатели гомосексуалисты. Непременно гомосексуалисты. Это только логично. К черту литературу! – Он вылил последние несколько капель стрег на пол. – Вот это ларам и пенатам, пусть приходят и лакают. Сношение, то есть подношение. Они что угодно слопают, прямо как собаки. Еще стрег!

– А вам не кажется?.. – осторожно спросил Эндерби. – То есть если вы идете на праздник...

– До него еще уйма часов, – отозвался Утесли. – Часов и часов и часов. Уйма времени начать и кончить, да еще несколько раз кряду, до начала. Если вы на это способны, конечно. Устрицы чертовски помогают, знаете ли. Прекрасно усиливают мужскую потенцию. Scampi<sup>[28]</sup>. Данте! – крикнул он. – Пошлите за устрицами для этого синьора. Он у нас молодожен, благослови его боже. – Утесли покачнулся на стуле, а Данте сказал:

– Вы сегодня жениться? Очень хорошо. Выпейте стрегу за счет заведения. – Он налил. – Salute, – поднял он свой бокал. – Molti bambini<sup>[29]</sup>, – подмигнул он.

– Отличная жратва эти устрицы, – сказал Утесли, выпивая.

Эндерби тоже выпил.

– Ваши слова крайне бестактны. Честь по чести, вас надо бы вздуть.

– О боже, боже ты мой! – зажмурившись, потряс головой Утесли. – Только не сегодня. Чересчур жарко. Расе, расе<sup>[30]</sup>, это город мира. – Он начал клевать носом.

– Тгорро<sup>[31]</sup>, – доверительно объяснил Данте. – Совсем в пюре. Вы везти его домой.

– Дудки, – уперся Эндерби. – К чертям собачьим, у меня медовый месяц. И вообще, он мне не нравится. Гадкий человечешко.

– Зависть, – пробормотал с закрытыми глазами Утесли, падая головой на стойку. – Я во всех антологиях. А он нет. Я-то популярный поэт. Известный, всеми любимый и уважаемый.

Тут он аккуратно, почти как в профессиональном акробатическом номере, рухнул вместе с табуретом на толстый ковер бара: падал он очень медленно и как будто вращался в падении. На шум из вестибюля прибежали мужчины в тесных костюмах. Они тараторили по-итальянски и смотрели на Эндерби с ненавистью.

– Я тут ни при чем, – сказал Эндерби. – Он уже был пьян, когда я пришел. – И угрюмо добавил: – К черту, у меня же медовый месяц.

Двое склонились над Утесли, и Эндерби было дозволено увидеть закулисную, нетуристическую сторону города: у одного была перхоть, а у второго следы от ожогов на шее. Внезапно открыв один глаз, Утесли очень четко произнес:

– Не доверяйте ему. Он шпион, притворяющийся молодоженом. – Тут язык у него снова стал заплетаться. – Подпоил меня, чтобы вык’асть государственные тай-й-йны. Раск’ыт заго-о-овор по све’жению

итальянского правительства. Бомбы заложили на Форуме Траяна и в храме Весты.

– Не впутывайте сюда мою жену, – пригрозил Эндерби.

– А, жена, – сказал один из пришедших. – Capito<sup>[32]</sup>.

Все стало на свои места: Эндерби повалил Утесли в законном гневе оскорбленного мужа. Дело чести. Утесли уже храпел. Двое вернулись в вестибюль поискать ему такси. Данте осторожно спросил у Эндерби:

– Стрега?

– Sì, – откликнулся Эндерби.

Он подписал чек и пересчитал сколько-то еще уже подписанных – все как один за местный ликер. Поразительно. Надо бы притормозить, он же не миллионер. Но ведь после медового месяца он начнет *зарабатывать* деньги... Капитал существует для того, чтобы тратить. Веста так сказала.

Перестав храпеть, Утесли причмокнул и произнес:

– Ты оскорбил меня, о Эндерби. – Глаза он так и не открыл. – Я зла не держал, просто хотел увенчать твою свадьбу на должный манер, – и разразился громким храпом.

Вошел таксист с квадратом усов, растущих словно бы из носа, и, снисходительно покачав головой, стал за плечи поднимать Утесли. Появилась еще обслуга отеля, включая мелких служащих в грязно-белых куртках, а Данте принял красивую позу за стойкой. Все ждали, что Эндерби возьмет Утесли за ноги.

– Я понимаю, что он inglese и я inglese, – сказал Эндерби, – но на том, черт побери, делу конец. Я на дух его не переношу, понимаете? Io, – сказал он, ученически складывая фразу, – non voglio aiutare<sup>[33]</sup>.

Все с улыбками поклонились, показывая, что оценили попытку англичанина говорить на их прекрасном языке, но проигнорировали смысл, возможно, потому, что уже были научены храпящим Утесли.

– Я не стану помогать, – повторил Эндерби, беря Утесли за ноги (в левой подошве обнаружилась дырка). – Так чертов медовый месяц не проводят, – ворчал он, помогая выносить Утесли. – Особенно в Риме.

Когда он (уже отдуваясь с натуги) проходил мимо высших чинов гостиницы, те кивали или кланялись в пояс, и каждый улыбался.

Виа Национале жарилась под солнцем и пестрела людьми. Такси пульсировало, поджидая, у обочины. Эндерби с таксисом потели, Утесли все еще похрапывал. Какой-то нищенствующий монах затряс перед Эндерби своей коробкой. Американец, другой, не туалетный, занес камеру, готовясь снимать.

– Проваливай! – рявкнул задыхающийся Эндерби.

Коленом придерживая храпящее тело, водитель высвободил руку, чтобы открыть дверцу со стороны пассажирского сиденья. Утесли затолкали внутрь, как полугодичный куль грязного белья.

– Ну вот, – сказал Эндерби. – Он весь ваш.

– Dove? – спросил таксист.

– О боже ты мой! Куда? – Все еще отдуваясь, Эндерби затормошил громкого, но неподвижного Утесли, стараясь кричать через одышку: – Где ты живешь, гад? Ну же, скажи нам, где!

Утесли очнулся с удивительной бодростью, точно только делал вид, будто отключился, чтобы его отнесли на ручках. Его голубые глаза – совершенно ясные – сверкнули на Эндерби осколками римского неба.

– Тибр, отец Тибр, – сказал он, – ты питаешь римлян. Виа Манчини у Понте Маттеотти.

Таксист впитал сведения как губка.

– О мир, о жизнь, о время! – вещал Утесли. – Тут покоится тот, чье имя не написано на воде. Во всех антологиях. – И провалился в глубокий сон с еще более громким храпом.

Эндерби помешкал, потом, поскольку весь застывший мир как будто от него этого ждал, грубо потеснил Утесли. Машина тронулась. Таксист жал на гудок по виа Национале и резко свернул на виа Четвертого ноября, оттуда машина понеслась на север по виа дель Корсо, где Утесли совершенно очнулся, сидел смирно, но сказал вдруг:

– Не найдется ли у вас сигаретки, дорогой Эндерби? Желательно английской.

– С вами теперь все в порядке? – спросил Эндерби. – Могу я тут выйти и оставить вас добираться домой самому?

– Слева, – указал Утесли, – вы найдете Пантеон, если присмотритесь повнимательней. А вон там, – его рука дернулась вправо, ударив Эндерби, – в самом конце улицы, фонтан Треви. В него вы бросите монетку и дадите себя сфотографировать зазывалам в беретах. Прошу, дайте мне сигарету, будьте лапушкой.

Эндерби протянул единственную смятую «Синьор сервис». Утесли принял ее уверенно, без благодарности и недрогнувшей рукой прикурил.

– Теперь, Эндерби, мы въезжаем на Пьяцца Колонна. Вот и сама колонна, а наверху, смотрите, Марк Аврелий.

– Я мог бы тут выйти, – предложил Эндерби, – и вернуться в гостиницу. Моей жене не слишком хорошо, знаете ли.

– Вот как? И в чем же она не слишком хороша? Как-никак

почитательница поэтов. Этого у нее не отнять. Ей всегда нравилось мое стихотвореньице в антологиях. Знаете, Эндерби, вполне вероятно, вы станете великим человеком. Ей нравится ставить на победителей. Она поставила на очень верного кандидата, но то было в области спорта. В отличие от гонщиков поэты не погибают, знаете ли. Смотрите, вот пьяцца дель Пополо. А теперь мы поднимемся по виа Фламиния, и уже можно мельком увидеть самого отца Тибра, в который плюют римляне.

– Что вам известно о моей жене? Кто вам сказал, что я женился на Весте Бейнбридж?

– Было во всех газетах, – откликнулся Утесли. – Разве вы не понимаете? Возможно, она их от вас прятала. Там писали, что вдова Пита Бейнбриджа снова выходит замуж. Газетчики, похоже, мало что про вас знают. Но когда вы умрете, выпустят биографии, понимаете ли. Биографий Пита Бейнбриджа вообще не было, поэтому быть неизвестным читателям «Дейли миррор», пожалуй, даже на пользу. Ага, вот виа Манчини.

Он забарабанил по стеклянной перегородке и нанес из-за нее несколько гротескных боксерских ударов водителю. Кивнув, водитель круто вывернул руль и остановился возле маленькой рюмочной.

– Вот тут мое скромное жилище, – сказал Утесли. – Прямо над питейным заведением.

– Вы, правда, так считаете? – спросил Эндерби. – Я думал, может, я пробуждаю в ней своего рода материнский инстинкт. И я к ней привязался. Очень, очень привязался. Влюбился.

Утесли кивал и кивал, расплачиваясь с водителем. Он как будто совершенно оправился от своего пьяного одурения. Два поэта очутились на знойной улице, остывающей под ветром с реки. Эндерби отпустил такси и тут же выругался:

– Проклятье, зачем я его отпустил? Мне надо вернуться к жене.

Он напомнил себе, что ему не нравится Утесли, потому что он во всех антологиях.

– Сдается мне, – сказал Эндерби, – что вы симулировали, черт бы вас побрал. Мне совершенно незачем было вас везти.

– Стрега, – покивал Утесли, – просто проносится через организм. Пожалуй, раз уж мы здесь, надо выпить еще. Или, может, литр-другой фраскати.

– Мне нужно вернуться. Возможно, она уже оправилась. Она, наверно, недоумевает, куда я подевался.

– К чему спешить? Невесте полагается ждать, знаете ли. Полагается лежать на прохладных лавандовых простынях, пока жених напивается до

импотенции. Ночь сэра Тоби, знаете ли, вот как ее раньше называли. Или в честь Фомы в апокрифах. Ну же, Эндерби, мне одиноко. Ваш собрат-поэт одинок. И мне есть что вам сказать.

– Про Весту?

– О нет, гораздо интереснее. Про вас и вашу поэтическую участь.

Внутри распивочной было темно и тепло. По стенам на вульгарных псевдоэтрусских мозаиках отплясывали мужчины и женщины в профиль. Стекланные бутылки с вином и мутные стаканы. Старик из эпохи Виктора Эммануила посасывал пышный ус; два мошенника с искренними глазами и круглыми лицами, невзирая на жару, в пальто шушукались в углу. Чавкающая старуха – каждый шаг давался ей с усилием – принесла двум английским поэтам литр мочи.

– Salute, – сказал Утесли. Его передернуло от первого глотка, но второй как будто пошел легче. – Как по-вашему, Эндерби, сколько мне лет? – спросил он.

– Лет? Ну, около пятидесяти.

– Пятьдесят два. И когда, по-вашему, я перестал писать?

– Я и не знал, что вы перестали.

– О да, давным-давно, давным-давным-давно. Я ни строчки стихов, Эндерби, не написал с двадцати семи. Вас это удивляет, да? Но писать стихи тяжело, Эндерби, тяжело, так тяжело. После тридцати стихи пишут только те, кто принимает участие в конкурсах, понимаете? В конкурсах воскресных газет. К ним, конечно, можно добавить «мальчиков обезьяньей железы», Йейтс был одним из них, но так нечестно, поэтому они не в счет. А он-то стал величайшим полоумным поэтом эпохи благодаря этому изобретению чертового Вороноффа<sup>[34]</sup>. Но остальные мы? Драматических больше нет, Эндерби, а об эпических – ха-ха! – и говорить нечего. Мы все – лирики, но опять же, сколько способен протянуть лирический дар? Да нисколько, черт побери, мой мальчик! Лет десять в лучшем случае. Не случайно, знаете ли, они все умирали молодыми и по большей части в средиземноморских странах. Дилан, конечно, умер в Америке, но Атлантика, если подумать, сродни Средиземноморью. Я о том говорю, что американская цивилизация, если вдуматься, приморская, а вовсе не речная. – Утесли одурманенно затряс головой, по всей очевидности, фраскати разбудило спящую стрегу. – Я хочу сказать, Эндерби, вам чертовски повезло, что вы вообще пишете стихи в возрасте... сколько вам?

– Сорок пять.

– В возрасте сорока пяти лет. На что вы рассчитываете? – Он набулькал себе еще фраскати. Снаружи вспыхивал свет. – Не обманывайте

себя, мой милый мальчик, по части обширных повествовательных поэм или пьес, или еще какой чуши в таком духе. Вы лирический поэт, и приближается время смерти лирического дара. Кто знает, возможно, он уже умер? – Он, прищурившись, глянул на Эндерби поверх стеклянного кувшина фраскати, который подергивался в его руках. – Не ждите приходов музы и вдохновенных находок на рассвете, Эндерби. А то мое стихотворение, то, что во всех антологиях, то, которое останется после меня, если вообще что-то останется, я написал того чертяку, знаете ли, Эндерби, когда мне было двадцать один. Юность! Единственное, что стоит иметь.

Он печально кивнул. С синхронностью киносценария его слова подтвердило мелькнувшее за окном видение привольной юности – мимо прошла юная римлянка: гордо поднятая голова, черная копна волос и темный дым на висках, упругая грудь, сильный, как у Гарри Пахаря, торс и ладные ляжки.

– Да, да, – покивал Утесли, – юность. – Он со вздохом выпил еще фраскати. – Вы никогда не чувствовали, Эндерби, что ваш дар умирает? Это ведь дар, который пристал юности и ничем не обязан опыту или эрудированности. В сущности атлетический дар, спортивный. – Утесли зевнул, показав кривые зубы различных цветов. – Что вы будете делать, Эндерби, что вы будете делать? Миру, разумеется, наплевать. Если бы мир вошел и услышал, как мы оплакиваем смерть лирического дара Эндерби, мир счел бы нас не просто безумными. Он счел бы, Эндерби, что мы... – Он подался вперед и прошипел: – Говорим о чем-то совершенно ином под видом безобидного. Нас сочли бы коммунистами.

– И как вы справляетесь? – спросил Эндерби, напуганный этим видением надвигающейся импотенции, импотенции, возможно, уже наступившей.

– Я? – Утесли уже снова захмелел. Он спазматически передергивал плечами и засасывал воздух как спагетти. – Я, Эндерби, отличный разбавитель на всяких мероприятиях. Ничто больше уже нельзя принимать в чистом виде. Вопрос вот в чем: мы живем или мы живем отчасти? Или... – Внезапно заморгав, точно от расстрельного залпа вспышек, он вскочил и прижался спиной к стене, как Прометей к утесу. – Или мы умираем?

Потом он рухнул на стол, как голливудский потребитель абсента, но никто из римлян этого не заметил.

– И что, скажи на милость, ты делал? – спросила Веста. – Где, скажи на милость, ты пропадал?

Эндерби испытал чувство эдакой пасынковой вины, единственной, какую он по-настоящему знал, и понурился. Жена была в ярком одуванчиково-желтом платье с широкой юбкой: гладкие волосы цвета пенни сияют, кожа летне-медовая, снова здоровая, глаза зеленые, расширенные, злые, – самая внушительная и желанная женщина на свете.

– Это все Утесли, понимаешь, – пробормотал Эндерби.

Она сложила на груди обнаженные руки.

– Ты же знаешь Утесли, – пробормотал Эндерби и в смиренной попытке преуменьшить свои проступки или даже преступления добавил: – Он во всех антологиях.

– Скорее во всех барах, насколько я знаю про Утесли, а ты с ним пошел. Честно тебя предупреждаю, Гарри, держись подальше от людей вроде Утесли. И вообще, что он делает в Риме? Мне это кажется очень подозрительным. Что он сказал? Что он тебе наговорил?

– Он сказал, что быть лирическим поэтом все равно что гонщиком и что ты снизошла до того, чтобы выйти за меня, потому что попадешь во все мои биографии и получишь свою долю моей посмертной славы, а еще он сказал, что мой поэтический дар умирает, и спросил, что я буду делать, когда он совсем умрет. Потом он отключился, и я долго не мог найти такси и названия отеля не мог вспомнить. Поэтому и задержался. Но ведь ты не сказала, в какое время мне вернуться, верно? – добавил Эндерби. – Ты вообще ничего не говорила.

– Ты сказал, что пойдешь обменяешь дорожные чеки, – сказала Веста. – Твой долг был остаться здесь, со мной. Отличное начало медового месяца, нечего сказать! Ты уходишь с человеком вроде Утесли, чтобы напиться и слушать напраслину на свою жену.

– Какую напраслину?

– Он же прирожденный лжец. Вечно пытался за мной приволочиться.

– Когда? Ты с ним близко знакома?

– Он был чем-то вроде журналиста, писакой на подхвате, – сказала Веста. – Вечно ошивался на задворках. Тут он из-за кино, наверное. Ошивается на киностудии. Послушай, – очень строго сказала она, – в будущем ты без меня никуда не пойдешь, понял? Ты просто не знаешь жизни, ты слишком невинен, чтобы жить. И моя обязанность за тобой



присматривать, о тебе заботиться.

– А моя? – спросил Эндерби.

Она слабо улыбнулась. Эндерби заметил, что бутылка фраскати, на три четверти полная, когда он уходил, теперь пуста. Она определенно оправилась. Снаружи начинался мягкий римский вечер.

– Что будем делать теперь? – спросил он.

– Пойдем поедим.

– Тебе не кажется, что рановато? Может, выпьем по аперитиву перед едой?

– Ты уже достаточно выпил.

– Ну, – протянул Эндерби, глянув на пустую бутылку фраскати, – ты и сама неплохо постаралась. К тому же на пустой желудок.

– О, я заказала в номер пиццу и пару клубных сэндвичей, – ответила Веста. – Умирала с голоду. И все еще умираю.

Она достала из платяного шкафа одуванчиково-желтую накидку, чтобы прикрыть голые плечи от вечерней прохлады – или итальянской похоти. Эндерби заметил, что она распаковала вещи; значит, не так уж долго она хворала. Выйдя из номера, они спустились по лестнице, не доверяя хрупкому и филигранному обаянию лифта. В коридорах, в вестибюле гостиницы мужчины откровенно восхищались Вестой. Щипатели попок, внезапно сообразил Эндерби, все итальянцы проклятые щипатели попок – это создавало проблему. И конечно же, в этой отсталой стране все еще в ходу дуэли! На виа Национале Эндерби пошел на шаг позади Весты, кисло улыбаясь щитам SPQR<sup>[35]</sup> на фонарях. Не нужны ему неприятности. Он даже не подозревал, какая это ответственность иметь жену.

– Мне говорили, есть одно местечко на виа Торино, – сказала Веста. – Гарри, ты почему идешь сзади? Не глупи. На тебя люди смотрят.

Эндерби просеменил несколько шажков и пошел рядом, но невидимая для нее, его ладонь простерлась в шести дюймах за покачивающимся задком, точно грелась у огня.

– Кто тебе говорил?

– Джиллиан Фробишер.

– Эта женщина едва не прикончила меня своим «спагетти с сюрпризом».

– Ты сам виноват. Тут нам направо.

Ресторан был полон закопченных зеркал, и в нем сильно пахло подвальной сыростью и очень старыми сухарями. Эндерби в мрачном сумраке читал меню. Официант с выступающим сизым подбородком не внушал доверия, зато старался украдкой заглянуть за вырез платья Весты.

И почему итальянской кухне поют такие дифирамбы, вдруг задумался Эндерби. Она же состоит в основном из нескольких разновидностей макарон с набором соусов в придачу, а единственное итальянское мясо – телятина. Тем не менее Эндерби углядел в меню слово bifestek и со слабой надеждой его заказал. Умиравшая от голода Веста умяла суп минестроне, блюдо равиоли, какое-то месиво из спагетти и окунала листья артишоков в маслянистый уксус, Эндерби даже подобрел от пол-литра фраскати, когда наконец прибыл предполагаемый стейк. Он оказался тонким, белым и на холодной тарелке.

– Questo e vitello?<sup>[36]</sup> – спросил официанта Эндерби.

Он, который до знакомства с Вестой обходился жуткими рагу и макал корки хлеба в банки джема, сам сейчас стал лицом как стейк от сдавленного гурманского гнева.

– Si, e vitelo, signore<sup>[37]</sup>.

– Я заказывал бифшеткс! – крикнул разъяренный Эндерби, неотесанный англичанин за границей. – Не чертову телятину! Это даже чертовой телятиной не назовешь, – добавил он с заботой поэта о точности определений. – Позовите управляющего.

– Будет, Гарри, – пожурела Веста. – На один день хватит капризов, ладно? Смотри, на тебя люди оборачиваются.

Кругом сидели римские едоки, с глазами навывкате набивая себе рты. Они не обращали внимания на Эндерби, они видели таких раньше. Пришел управляющий, толстый, маленький, с бегаящими черными глазками, и запыхтел при виде подавляемого возмущения Эндерби.

– Я заказал стейк, – сказал Эндерби. – А это телятина.

– То же самое, – отозвался управляющий. – Телятина – это корова. Говядина – это корова. Ergo, говядина – это телятина.

– Вы собираетесь учить меня, что является бифштексом, а что нет? – вспыхнул разъяренный таким силлогизмом Эндерби. – Вы меня моему собственному языку собираетесь учить, черт вас побери?

– Следи за языком, Гарри, следи за языком, – не к месту вставила Веста.

– Да, моему собственному чертовому языку! – крикнул Эндерби. – Он возомнил, будто знает его лучше меня! Ты еще будешь за него заступаться?

– Так оно так, – сказал управляющий. – Вы не едите, вы платите все равно. Что заказали, за то платите.

– Ну уж нет! – Эндерби встал. – Ну уж, черт меня раздери, нет! – Он посмотрел сверху вниз на Весту, перед которой пенился мусс сабайон. – Не

стану я платить за то, чего не заказывал, а я не заказывал вот этого бледного подобия невесты чего. Пойду обедать куда-нибудь еще.

– Сядь, Гарри, – приказала она. – Ешь то, что тебе дали. – Она обиженно позвякала ложечкой в стеклянной креманке с сабайоном. – Не делай из мухи слона.

– Не желаю выбрасывать деньги на ветер, – возразил Эндерби, – и не желаю, чтобы меня оскорбляли иностранцы.

– Это ты тут иностранец, – возразила Веста. – А теперь сядь.

Эндерби брюзгливо сел.

Управляющий хрюкнул в иностранном триумфе, уже готовый удалиться, положив конец глупым капризам, ведь телятина все равно мясо, с этим не поспоришь. Увидев его ухмылку, Эндерби снова вскочил, еще больше разозлившись.

– Не стану я сидеть! И он сам знает, куда может засунуть эту бескровную дрянь. Хочешь – оставайся, а я пойду.

Глаза Весты стремительно меняли выражение за выражением, словно цифры в перекидном номере автобуса.

– Хорошо, дорогой, – сказала она. – Оставь мне денег заплатить за мой обед. Увидимся через пятнадцать минут в том кафе на открытом воздухе.

– Где?

– На пьядца ди как-то там, – сказала она, махнув куда-то рукой.

– Республика, – услужливо подсказал официант.

– А вы не суйтесь не в свое дело! – рявкнул Эндерби. – Ладно, увидимся там.

Он оставил ей крупную банкноту на несколько тысяч или миллионов лир. С банкноты на Эндерби с безмолвной мольбой смотрела какая-то аллегорическая леди.

Четверть часа спустя Эндерби, уныло глядя на подсвеченный разноцветными прожекторами фонтан, на «Веспы», «Фиаты» и трезвые толпы, сидел подле почти пустой бутылки фрискати. Она досталась ему теплой, и он сказал официанту:

– Non freddo<sup>[38]</sup>.

Официант согласился, что бутылка non freddo, и, улыбаясь, ушел. Теперь бутылка была еще менее freddo. Вечер выдался теплый. Эндерби вдруг испытал тоску по своей прежней жизни, по перестоявшему чаю, по часам в сортире, по онанизму. Потом, сдерживая слезы, сообразил, что ведет себя совершенно по-детски. Только правильно, что мужчина женится и проводит медовый месяц среди фонтанов Рима; только правильно хотеть быть зрелым. Но Утесли сказал, дескать, поэзия – это юношеский дар,

следовательно, незрелая, родственная таким дарам, как скорость реакции и внимательность, которые превращают мужчину в гонщика. Возможно ли, что дар уже покидает его, и так задержавшись дольше положенного? Если так, то что он из себя представляет, в кого он превратится?

Появилась Веста – видение красоты с обложки «Вог» на фоне подсвеченного фонтана. Трепещущий и внезапно гордый, Эндерби встал. Она же села со словами:

– Честное слово, мне было за тебя стыдно. Ты повел себя просто позорно. Разумеется, я заплатила за еду, которую ты заказал. Ненавижу мелочные препирательства из-за денег.

– Моих денег, – поправил Эндерби. – Не стоило тебе этого делать.

– Хорошо, твоих денег. Но, пожалуйста, помни, у меня тоже есть достоинство. Я не позволю тебе или какому другому мужчине выставять меня на посмешище. – Она смягчилась. – Ах, Гарри, как ты мог? Как ты мог себя так повести? Да еще в первый день нашего медового месяца! Ах, Гарри, ты ужасно меня расстроил.

– Выпей вина, – предложил Эндерби. Официант склонился с римской ухмылкой, в дерзком взгляде – восхищение синьорой. – В прошлый раз было чертовски caldo<sup>[39]</sup>, – сказал Эндерби. – На сей раз я хочу freddo, понимаете. Freddo, черт побери! – Официант ушел, похотливо осклабясь. – Как я ненавижу этот проклятый город! – Эндерби вдруг пробрала дрожь.

Веста начала тихонько хныкать.

– В чем дело? – спросил Эндерби.

– О, я думала, все будет иначе. Я думала, ты будешь иным.

Внезапно она напряглась, глядя прямо перед собой, точно в ожидании какой-то физической кары. Эндерби смотрел на нее, разинув рот. Ее рот тоже открылся, и, словно из уст спиритуалистического медиума, раздался звук, сходный с вызыванием духа краснокожих:

– Вэээ-кк.

Эндерби слушал в немом изумлении, еще больше расширив глаза. Это была отрыжка!

– Ох, извини, – сказала она. – Я правда не могла сдержаться, честное слово.

– Не надо сдерживаться, пусть выходит, – участливо посоветовал Эндерби. – Всегда можно сказать «извините».

– Бэ-эээ-ппп!!!!

– Мне правда очень неловко, прости, – сказала Веста. – Знаешь, кажется, мне не очень-то хорошо. Перемена кухни не пошла мне на пользу. – Роооорпп. Ауууу.

– Хочешь, вернемся в отель? – с жаром предложил Эндерби.

– Боюсь, придется. Борrrrrпфффф. Неудачный день у нас получился, да?

– Ночь сэра Тоби, – с облегчением отозвался Эндерби. – Как у Фомы в апокрифах. – Он взял ее за руку.

## Глава вторая

### 1

– Пьяцца Сан-Пьетро, – вещал экскурсовод. – Площадь Святого Петра. – Этот стриженный под ежик молодой римлянин нахально пожирал глазами дам. – Пляс де Сент-Пьер. Сан-Петерс-плац.

Вульгарно, решил Эндерби. Претенциозно. Экскурсовод заметил кислую мину Эндерби и понял, что не произвел впечатления.

– Плаца Сан-Педро, – перевел он название на испанский, точно выкладывал козырь.

Зной стоял палящий, и Веста была одета для палящего зноя в бежевый лен: что-то аскетичное и дорогое от Элио Берханьера. Она обладала поразительным даром восстанавливать силы. Вчера ночью ее расстроенный желудок слабоумным ребенком лепетал и булькал, даже когда она наконец заснула. Эндерби лежал в чистой пижаме, снисходительно слушая утробные звуки. Ее худые спина и ляжки, видимые сквозь вуалевую ночную рубашку, опрятные, но не соблазнительные, временами вздымались от очередных ветров – простыни из-за духоты летней ночи сбросил сам Эндерби. Едва погасла прикроватная лампа, Веста превратилась в скопление интимных шумов, которые наполнили Эндерби слабой ностальгией по холостяцким дням, когда он, засыпая, видел сны о кастрюлях и оттачивал у моря свои стихи. В половине четвертого по его светящимся наручным часам (свадебный подарок) Эндерби разбудил бешеный стук сердца о грудную клетку, вероятно, следствие стреги и фраскати, и он услышал, как она все еще самым здоровым образом похрапывает и пукает, но когда он окончательно проснулся около девяти под сварливые клаксоны с виа Национале, Веста уже сидела у окна и ела.

Важнейшая задача пока оставалась невыполненной. Эндерби, моргая и щурясь, заметив, что спал, не вынув челюсти, спрашивая себя, куда же положил контактные линзы, настолько осмелел от болезненной утренней эрекции, что спросил:

– Может, тебе ненадолго вернуться в постель?

Импровизированные стихи, остроумно вульгарные, пришли ему в голову, словно чтобы опровергнуть зловещие предзнаменования Утесли: Муза еще очень даже с ним.

Контракт наш брачный... Пусть же он,  
Что б адвокаты ни твердили,  
Подписан будет лишь пером —  
Моим. И в нем — мои чернила.

Эндерби постеснялся прочесть такие вирши вслух. И вообще, Веста уже говорила:

— Я уже несколько часов как проснулась. Съела омлет с ветчиной в ресторане, а теперь ем завтрак, который заказала тебе. Но это круассаны, джем и все такое. Знаешь, мы сегодня идем на небольшую экскурсию. Я подумала, будет забавно. Поедем посмотрим Рим. Автобус прибудет в половине десятого, поэтому тебе лучше поспешить. — И она взмахнула билетами на экскурсию в луче римского света, потом хрустнула слоеным хвостиком: — Что-то не вижу особого энтузиазма. Ты не хочешь посмотреть Рим?

— Нет.

Задайте прямой вопрос и получите прямой ответ.

— Ты называешь себя поэтом. Считается, что поэты полны любопытства. Совсем тебя не понимаю.

Так или иначе, теперь они вышли из автобуса на полуденный солнцепек, чтобы проинспектировать обелиск цирка Нерона. Экскурсовод, который счел Эндерби испанцем, вкрадчиво говорил:

— Obelisco del Circo de Nerón.

— Sì, — ответил неочарованный Эндерби. — Послушай, — повернулся он к Весте. — У меня в горле пересохло. Мне надо выпить.

Это все от сухих материй, которыми его пичкали: ворота на холме Пинчо, галерея Боргезе, мавзолей Августа, Пантеон, Сенат и Дворец правосудия, замок Сан-Анджело и виа делла Консильяционе. Эндерби вспомнились слова Артура Клафа. Груда сора — вот как он назвал Рим. Эндерби был готов склониться перед суждением великого поэта.

— Обломки и сор, — процитировал он.

— Знаешь, — сказала Веста, — я правда думаю, что на самом деле ты сущий обыватель.

— Желающий выпить. Мучимый жаждой.

— Ладно. И вообще экскурсия почти кончилась.

Эндерби, у которого менее чем за день развился нюх на распивочные, повел Весту по дороге Примирения<sup>[40]</sup>. Вскоре они уже сидели в тенишке и пили фраскати.

– Мир, – сказала Веста со вздохом.

Эндерби поперхнулся вином.

– Прошу прощения?

– Вот чего мы всем хотим, правда? Мира. Покоя и порядка. Уверенности. Мысли стихают, и разум пребывает в мире перед лицом порядка. – Кожа у нее была такая чистая, такая моложавая под широкополой шляпой (также из той мадридской мастерской предприимчивого Берханьера), затеняющей изысканно раздутые ноздри и честные, но умные зеленые глаза. – Мир, – повторила она, потом снова вздохнула. – Бэ-э.

– Что это было за слово? – спросил Эндерби.

– Мир.

– Нет, нет, после него.

– А после я ничего не говорила. Тебе слышалось, малыш Гарри.

– Как ты меня назвала?

– Да что на тебя нашло? Римская магия престранно на тебя влияет. И пьешь ты гораздо больше, чем в Англии.

– Ты исцелила мой желудок, – охотно объяснил Эндерби. – Кажется, я в любых количествах могу пить эту жидкость вообще без каких-либо последствий. Диета, на которую ты меня посадила, несомненно, творит чудеса.

Весело ей покивав, он плеснул себе еще из кувшина.

По лицу Весты скользнуло отвращение, ноздри еще чуточку раздулись.

– Я говорю про мир, а ты желудки.

– Про один желудок, – поправил Эндерби. – Поэты говорят про желудки, а редактора «Фем» – про мир. Пожалуй, справедливый расклад.

– Для нас с тобой возможны такие мир и покой, – сказала Веста. – Красивый дом в Сассексе с видом на Даунс. Такие дышат покоем, правда?

– Ты слишком молода, чтобы хотеть покоя, – возразил Эндерби. – Покой для стариков.

– Бэ-э, да все мы его хотим, – с нажимом сказала Веста. – И знаешь ли, я чувствую его здесь, в Риме. Великие мир и покой.

– Ха, те еще мир и покой! – буркнул Эндерби. – Рах Romana. Всякий раз, что-то разоряя, римляне твердили, что восстанавливают мир. Чушь собачья! Это была мерзкая вульгарная цивилизация, облагороженная лишь тем, что спряталась за уймой типов склонений существительных. Мир? Да римляне не знали, что это такое. Проблеваться в отхожем месте после рябчиков в сиропе и улиток в желе или потискать малолетнего раба между переменах блюд – в этом они толк знали. Они знали, как испытать



катарсис, когда смотришь, как на арене женщин рвут на части изголодавшиеся шелудивые львы. Но ни мира, ни покоя они не знали. Да если бы они с полминуты посидели в покое, то услышали бы, как множество голосов вопиют, что вся их империя – чистой воды надувательство. Не говори мне про чертов Рах Romana. – Эндерби фыркнул, не зная, от чего так завелся.

Веста снисходительно улыбнулась.

– Это не настоящий Рим. Это голливудский Рим.

– Настоящий Рим и был голливудским, только в еще большей степени. Да и что от него осталось? Плесневеющие студийные площадки, вульгарные обломанные колонны. Имперские речи Вергилия Марона, прихлебателя Октавиана Августа и всех его триумфальных арок, теперь валяющихся на земле. Пыль, пыль, пыль от шагающих сапог снова и снова. Рим. – Эндерби сделал уместный, но вульгарный древнеримский жест. – Червивая головка сыра с излишком неправильных глаголов.

Веста все еще улыбалась, почти как Богоматерь в видении, какое явилось Эндерби в тот скользкий день по пути в Лондон, когда нарождалась поэма.

– Ты просто не слушаешь, да? Ты просто не даешь мне шанса сказать то, что я хочу.

– Чертов римский мир! – фыркнул Эндерби.

– Я не про ту империю говорила. Я говорила про ту, которую вскармливали в катакомбах.

– О боже ты мой, нет! – промямлил Эндерби.

Веста выпила еще вина, потом очень мягко рыгнула. Она не извинилась, она вообще как будто не заметила. Эндерби ушам своим не верил.

– Тебе не кажется, что это сродни возвращению домой? – сказала она. – Знаешь... Возвращение блудных?.. Ты решил уйти из империи и с тех самых пор жалел. Без толку отрицать, это во всех твоих стихах.

Эндерби сделал глубокий вдох.

– По-своему мы все сожалеем об утрате вселенского порядка. Широкого зубастого оскала. Но это мертвый оскал. Нет, не просто мертвый, а оскал фальшивых зубов. Он вообще никогда не был настоящим. Во всяком случае, для меня.

– Лжец.

– Ты-то что об этом знаешь? – вызывающе спросил Эндерби.

– Даже больше, чем ты думаешь. – Она отпила фраскати, точно это был очень горячий чай. – Ты никогда мной особо не интересовался, верно?

Не потрудились ничего про меня узнать.

– Мы не так давно знакомы, – несколько виновато ответил Эндерби.

– Достаточно, чтобы пожениться. Нет, будь честным. Для Эндерби всегда важен был только Эндерби. Пуп земли Эндерби.

– Это не совсем так, – с сомнением протянул Эндерби. – Наверное, я считал мое творчество важным. Но не ради меня самого. Я не слишком думаю о собственном комфорте, чести или славе.

– Вот именно. Тебя слишком занимал ты сам, чтобы отвлекаться на подобные вещи. Эндерби в пустоте. Эндерби, вращающийся вокруг своей оси в вечном сортире.

– Это несправедливо. Это вообще не правда.

– Видишь? У тебя появляется интерес. Ты готов к долгому разговору про Эндерби. А что если поговорим обо мне?

– С радостью, – покорно согласился Эндерби.

Оттолкнув свой бокал, Веста сложила на столе тонкие руки.

– Какое по-твоему у меня воспитание?

– Ну, тут-то все понятно, да? – сказал Эндерби. – Добрая шотландская семья. Кальвинисты. Еще одна имперская мечта, из которой хочется сбежать.

– Нет, – возразила Веста, – совсем нет. Не кальвинисты. Католики. В точности как ты. – Она мило улыбнулась.

– Что? – в ужасе пискнул Эндерби.

– Да, католики, – повторила Веста. – В Шотландии есть католики, знаешь ли. Множество католиков. Предполагалось, что я стану монахиней. Тебя это удивляет, да?

– Не слишком, – ответил Эндерби. – Учитывая исходный посыл, который я все еще стараюсь переварить, не такой уж сюрприз. Ты носишь одежду как монахиня.

– Какие странные вещи ты говоришь! Интересно, что ты имеешь в виду?

– Почему ты раньше мне не сказала? – обеспокоенно спросил Эндерби. – То есть мы прожили под одной крышей сколько? Несколько месяцев? Ты и словечком не обмолвилась.

– А с чего бы? Речь об этом не заходила, а ты моей жизнью никогда не интересовался. Как я уже говорила, для поэта ты удивительно нелюбопытен.

Эндерби посмотрел на нее определенно с любопытством: честь по чести, это откровение должно было бы изменить ее внешность, но она все еще казалась стройной протестантской красавицей сродни его

подростковому видению, ангелом облегчения.

– И вообще, разницы нет никакой, – продолжала она. – Я пошла против законов церкви, когда вышла за Пита. Он, как известно всем, кроме тебя, уже успел развестись. Это происходило постепенно, я утрачивала веру. Пит верил в гоночные моторы, этого у него не отнять, и перед гонками он молился, впрочем, я не знаю чему. Может, какому-то архетипичному двигателю внутреннего сгорания. Пит был милым мальчиком. – Она допила до дна.

– Выпей еще, – сказал Эндерби.

– Да, выпью, совсем чуточку. В Риме удивительная атмосфера, правда? Ты ее не чувствуешь? Почему-то я чувствую себя полрой, опустошенной. Свободной от веры и прочего.

– Будь осторожна, – очень четко произнес, подаваясь через стол, Эндерби. – Будь очень и очень осторожна с такими чувствами. Рим – просто город, как любой другой. Крайне перехваленный, я бы сказал. Он наживается на вере, как Стратфорд на Шекспире. Но не начинай думать, будто это великая чистая мать, которая зовет тебя домой. И вообще, домой ты попасть не можешь. Ты живешь во грехе. Не забывай, мы в отделе гражданских актов расписались.

– Так мы живем во грехе? – невозмутимо спросила Веста. – Я ничего такого не заметила.

– Ну, так решили бы, если бы все кругом были католиками и случайно узнали, – смутившись, сказал Эндерби. – Разумеется, как ты и сказала, мы никак ни в каком грехе не живем.

– Ты в свое время со всем завязал, да? Ушел от церкви, от общества, от семьи...

– Да я, в конце концов, поэт, черт побери...

– Все отправил в сортир, все. Даже акт любви.

Эндерби зарделся как мак.

– Что ты хочешь этим сказать? Да что ты вообще про это знаешь? Я самый обычный человек, вот только я не привык, вот только слишком много времени прошло, вот только я некрасивый и застенчивый, и...

– Все уладится. Вот увидишь. Только подожди.

Прощая, она протянула ему добрую прохладную руку. Все, что он, вероятно, хотел бы сказать, вырвал у него изо рта, словно вонзив серебряные когти, вырвал и проглотил, как проглотил все звуки ангелического полдня, внезапный и бурный разгул колоколов. Гигантские металлические зевы лаяли, взрыкивали, бросали в небо, в римские небеса никелиевую и алюминиевую страсть перезвона.

После заливой соусом пасты и оплетенного соломой пузыря кьянти идея Весты показалась вполне разумной, тем более что говорила она не о цели, а о процессе: прохладный бриз, поднятый лопастями вентилятора в движущемся автобусе, остановка для дегустации вин с виноградников фраскати, широкая гладь озера и гостиница на берегу. И неспешное возвращение в Рим ранним вечером. И вообще, это всего лишь идея... Едва Эндерби сказал «да», она тут же достала из сумочки билеты.

– Неужели нам все время надо проводить в автобусах? – спросил Эндерби.

– Тут ведь есть на что посмотреть, да? А тебе уж точно надо все посмотреть, чтобы удостовериться, что все это сор.

– Так ведь сор и есть.

Сонному после ланча Эндерби вспомнилась, например, жуткая триумфальная арка Константина, похожая на окаменевшую в вечности страницу «Дейли миррор» – сплошь карикатуры и лапидарные заголовки. Но озеро, особенно в палящий зной, совсем другое дело. Рим лучше всего принимать в жидком виде: вино, фонтаны, минеральная вода Aqua Sacra. Aqua Sacra Эндерби оценил по достоинству. Насыщенная широким набором химикатов, она неизменно вызывала ветры и способствовала цивилизованному опорожнению кишечника. С этой точки зрения он серьезно рекомендовал ее Весте.

Эндерби удивился, что на экскурсию к озеру собралось столько людей. Садясь у гостиницы в автобус, он изготовился уснуть, но почти сразу же им с Вестой и прочей многоязычной толпой велели выйти. Их высадили на какой-то безымянной площади, оплавающейся и иссохшей до кости под издевки фонтана. Тут стояла целая флотилия междугородних автобусов, краска на них плавилась и шла пузырями. Мужчины с пронумерованными табличками на палках созывали свои взводы, и покорные экскурсанты, щурясь и морщась на слепящий свет, маршировали к табличкам.

– Наш номер шестой, – сказала Веста, и они пошли к своей табличке.

В салоне автобуса жар стоял невыносимый: на солнцепеке его внутренность превратилась в духовку. Даже Веста вспотела. Эндерби превратился в фонтан, пот вырывался из его пор почти слышимо. В автобус зашел встревоженный человек, выкрикивая: «Где доктор Бухвальд?» – на множестве языков, так что пассажиры прониклись нервической ответственностью за пропавшего и начали чесаться и ерзать.

В кресле перед Эндерби храпел португалец, положив голову на плечо незнакомому французу. Фотоаппараты американцев щелкали, как на месте преступления. Имелась пара хмыкающих негров. Большая ветчинно-розовая немецкая семья говорила о Риме с серьезными и сожалеющими интонациями, пережевывая увиденное и услышанное в многосоставные цепочки слов-сарделек. Эндерби закрыл глаза.

Смутно, через пелену дремы он ощущал успокаивающий ветер, заносимый в окна с разгоном автобуса.

– Какое, однако, популярное озеро... – сонно сказал он Весте. – Наверное... Столько людей туда едут.

Автоколонна двинулась на юг. Из громкоговорителя раздался голос экскурсовода, выдававший фразы на итальянском, французском, немецком и американском английском, и это гудение «поминками по Финнегану» убаюкало Эндерби в паракхроническую дрему, где смешались Константин Великоглупый и бутылкобитвы у пивных озер. Проснувшись со смехом, он увидел виллы, виноградники и выжженную землю, потом снова заснул, унося с собой в глубокое забытие чеканный профиль Весты, смотрящей на него с заботливостью фермерши, которая несет на рынок поросенка.

Проснулся он, чмокая сухими губами, в маленьком городке великих обаяния и чистоты, где официанты с салфетками поджидали на широкой террасе со множеством столов. Затекие и потягивающиеся пассажиры сошли к поилкам. Тут, понял Эндерби, они совсем близко к Фраскати, чье вино так боится перевозки, что путешествует на минимально возможное расстояние. Белая пыль, зной и мерцающая бутылка на столе. Внезапно Эндерби почувствовал себя здоровым и счастливым. Улыбнувшись Весте, он взял ее за руку.

– Забавно, что мы оба католики-ренегаты, да? Ты была права, когда сказала, что чуток похоже на возвращение домой. Я хочу сказать, что подобную страну мы понимаем лучше протестантов. Мы сопричастны ее традициям. – Он доброжелательно улыбнулся паре голодноглазых детишек у подножия лестницы на террасу; старший серьезно ковырял в носу. – Даже если больше не веришь, Англия все равно кажется чуточку чужой, чуточку неприязненной. Взять хотя бы церкви, которые протестанты у нас отняли. То есть, по мне, так пусть оставят их себе. Но все-таки им надо иногда напоминать, что на самом деле они все еще наши. – Он счастливо оглядел заполненную пьющими террасу, умиротворенный лепетом чуждых фоном.

– Лучше бы ты не разговаривал во сне, – кисло улыбнулась Веста. – Хотя бы на людях.

– Да? И что я говорил?

– «Долой папу» или что-то в таком духе. Хорошо, что мало кто в автобусе понимает английский.

– Забавно, – сказал Эндерби, – я даже не думал о папе. Очень любопытно. Поразительно, что только не творится в подсознании, да?

– Тебе, пожалуй, лучше до конца поездки не спать, – приказала Веста. – Это последний перегон.

– Но ведь никто папу не упоминал, правда? – недоумевал Эндерби. – Смотри, уже в автобус садятся!

Двигаясь по проходу, они вежливо улыбались попутчикам. Кое-кто поменялся местами, но это было не важно: даже сев на самое дальнее от окна кресло, все равно окажешься через одно место от него. Однако нахальный пузатенький француз в льняном костюме и панаме, точно местный житель в колонии, набрасывался, издавая звуки флейты, на немца, который якобы занял его место. Немец рывкал и подвывал возмущенными отрицаниями. Худой подвыпивший португалец, подбодренный родной латынью, взялся обрабатывать ни в чем не повинную сырную голову голландца: он-де с самого начала застолбил место поближе к водителю, мол, видишь, твоя жирная голландская задница на нем сидит, на моей карте Рима и его окрестностей. Европа воевала сама с собой, поэтому остроглазый техасец крикнул:

– Эй вы, охолоните!

Поднялся экскурсовод и заговорил по-французски, заявив, что младенцем в школе его учили садиться на изначально отведенное место. Эндерби кивнул: по-французски это звучало разумно и цивилизованно. На американский английский экскурсовод перевел свое увещевание так:

– Как будто вы в школе, сидите на своем месте и не высовывайтесь, не старайтесь захватить чужое. О'кей?

– Кем вы себя возомнили, черт побери? – тут же вскинулся раскрасневшийся Эндерби. – Папой римским?

Это был извечный протест англичанина против иностранной надменности.

– Почему бы тебе не держать твой большой рот... – начала Веста.

Слова Эндерби быстро оказались переведены на многие языки, и все повернулись посмотреть на него – одни с удивлением, другие с сомнением, а третьи со страхом. Но один пожилой мужчина в сером, эдакий элегантный резонер, встал сказать по-английски:

– Нам сделали выговор. Он напомнил нам о цели нашей поездки. Нельзя допустить разобщения католической Европы.

Он сел, и пассажиры взглянули на Эндерби теплее, а одна сморщенная

коричневая старушка даже предложила ему кусок бельгийского шоколада.

– О чем это он? – спросил Эндерби у Весты. – Он сказал, цель нашей поездки. Мы же на озеро едем, да? Какое отношение озеро имеет к католической Европе?

– Увидишь, – успокоила Веста и добавила: – Думаю, в конце концов будет лучше, если ты все-таки поспишь.

Но теперь Эндерби не мог задремать. Мимо скользила сельская местность, сверкали далекие городки на высоких залитых солнцем плато, неслись оливы, виноградники и кипарисы, виллы, покоричневевшие поля, бесконечное голубое небо. Наконец показалось озеро, огромная белая водяная гладь, которая смягчала полуденный зной; на берегу – постоянный двор. Экскурсовод, который молчал и дулся от того, что Эндерби его окоротил, наконец подал голос:

– Остановка два часа. Автобус будет припаркован на стоянке для автобусов. – Он сделал римский жест-закорючку в неведомом направлении.

Когда чета Эндерби сходила, он соорудил сизо-подбородковую хмурую римскую мину, а ведь Эндерби бросил ему:

– Никаких обид, ладно?

И совсем уж окаменел, когда Эндерби сказал:

– Ma e vero che Lei ha parlato un poco pontificalmente<sup>[41]</sup>.

– Пошли, – сказала Веста.

От серебристой воды веяло прохладой, но к немалому удивлению Эндерби никто не спешил ею насладиться. Сходя с автобусов, толпы устремлялись на холм к городку за стеной. Автобус за автобусом извергал совсем непраздничных людей, серьезных, благочестиво перебирающих четки. Тут были точеные африканцы, стайка китайцев, косяк финнов, хоровод жующих американцев,жимающих своими epaules<sup>[42]</sup> французов, встречались также редкие светловолосые викинги и их богини, – и все поднимались на холм.

– Мы тоже поднимемся, – сказала Веста.

– А что там, на холме? – тщательно выговаривая слова, спросил Эндерби.

– Идем. – Веста взяла его под руку. – Прояви чуточку поэтического любопытства, пожалуйста. Пойдем и узнаешь.

Эндерби почти догадывался, что ждет в конце дороги, по которой они начали подниматься, уворачиваясь от прибывающих с визгом шин автобусов, но позволил себя вести мимо улыбающихся торговцев фруктами и образками. На мгновение он в ужасе замешкался, увидев портрет

размером с игральную карту, который повторялся более пятидесяти двух раз: поначалу ему показалось, что это с картинки благословляет портретиста его мачеха в одеждах святого, но быстро сообразил, что это не она.

Его, отдувающегося, подвели к массивным воротам, а через них – во двор, уже набитый битком и наэлектризованный. Позади них с Вестой решительно поднимались новые толпы. Ловушка, ловушка! Он не сможет выбраться! Но тут раздался священный рев, от которого, казалось, содрогнулся сам холм, и усиленный громкоговорителем голос очень быстро заговорил на очень быстром итальянском. Голос шел как будто бы из ниоткуда, открытые в экстазе рты впитывали его вместе с воздухом, черные глаза выискивали голос над высокой штукатуркой бежевых стен, где в вышине ставни были распахнуты жару, деревьям и небу. Радость от громких неразборчивых слов наполняла щетинистые лица. Занялся крик и был подхвачен крик:

– Вива, вива, вива!

– Так это он, да? – спросил Эндерби у Весты.

Она кивнула. Теперь возбудились французы: навестили уши, приоткрыли от радости рты, точно голос объявлял фантастические авиарейсы: Тулон, Марсель, Бордо, Авиньон.

– Браво! – Эхо разнесло артиллерийские очереди криков по холмам, а оттуда к небесам. – Браво, браво!

Эндерби был напуган, сбит с толку.

– Что, собственно, тут происходит? – крикнул он.

Теперь голос заговорил на американском английском, приветствуя паломнический контингент из Иллинойса, Огайо, Нью-Джерси, Массачусетса, Делавэра. И Эндерби почувствовал, как холодные мертвенные руки шарят по всему его горячему телу, когда увидел ритмичные сигналы чирлидера, молодого человека в новой шерстяной фуфайке с большой вышитой голубой буквой «П».

– Род-Айленд, – говорил голос. – Кентукки, Техас.

– Ура, ура, ура! – раздались ответные крики. – Папа, папа, папа!

– О боже, нет! – застонал Эндерби. – Бога ради, дайте мне отсюда уйти!

Со слабыми извинениями он попытался протолкаться прочь, но толпа сзади стояла стеной, устремив глаза ввысь, на бежевую штукатурку, и он наступил на ногу маленькой французской девочке, та заплакала.

– Гарри, – резко сказала Веста, – стой, где стоишь!

– Миссисипи, Калифорния, Оклахома, – звучала литания из стиха



святого Уолта Уитмена.

– Ура, ура, ура! Папа, папа, папа!

– О Господи Иисусе! – рыдал Эндерби. – Пожалуйста, дай мне уйти, пожалуйста! Мне нехорошо, я болен, мне нужно в уборную.

– Воинствующая церковь тут, а тебе только и нужна уборная.

– Нужна, нужна...

Со слезами на глазах Эндерби теперь схватился с потным испанцем, который не давал ему пройти. Французская девочка все плакала, тыча пальчиком в Эндерби. Внезапно раздался призыв к молитве, и все начали опускаться на колени в пыль двора. Эндерби превратился в бешеного учителя, в море пораженных детей. Его жена тоже преклонила колени. Веста стояла на коленях. Она стала на колени со всеми.

– Вставай! – завыл Эндерби, потом по-сержантски гаркнул: – Поднимайся с чертовых колен!

– Преклони колени, – приказала она, из ее глаз словно бы лился зеленый яд. – Встань на колени. На тебя все смотрят.

– О боже мой! – плакал и взывал Эндерби, молясь и борясь против течения.

И стал выбираться, высоко поднимая ноги, точно шагал в патоке. Он наступал на колени, юбки, даже на плечи и был повсеместно проклиная даже теми, кто молился с пугающей искренностью, с глазами, увлажненными молитвой. Спотыкаясь, проклиная в ответ, неуклюже и по-гусиному ступая, по-епископски возлагая длани на головы, он продрался через гигантский пирог коленопреклоненных и достиг – с тошнотой в горле, слепой от пота – ворот и дороги за ними. Спотыкаясь вниз с холма мимо улыбочных торговцев, он бормотал себе под нос:

– Какой я дурак, что приехал!

С вершины последовал вздох громкого и дружного «аминь».

### 3

– «Сефил унесди», – лопотал пьяница. – «Тотхи мема». «Кардифасити»<sup>[43]</sup>.

У него было удивленное львиное лицо прокаженного, хотя и без гривы, лишь несколько волнистых прядок ползли по голому скальпу. Не сводя глаз с Эндерби, точно убежденный, что Эндерби хочет его загипнотизировать, и слишком вежливый (а) чтобы протестовать, мол, не хочет, чтобы его гипнотизировали, и (б) заявить, что гипноз – это суцая

чепуха, он то и дело дерзким движением подносил окурок к губам, затягиваясь с отчаянным стоном, точно это единственный источник кислорода, а он – умирающий.

– Tutti buoni<sup>[44]</sup>, – покивал над своим вином Эндерби. – Весь футбол очень хорошо.

Схватив Эндерби за левую руку, львинолицый выдавил безрадостную улыбку глубокого кровнобратского понимания. Они сидели за грубо сколоченным столом на открытой веранде. Тут фраскати достигало своего последнего вздоха дешевизны – золотые галлоны за несколько кусочков звякающего металла.

– «Вес-Бромвич», – продолжал свою литанию пьяница. – «Манчестер-лунайтек». «Уондерскинс»<sup>[45]</sup>.

Хотя она бодрила чуть больше географических манифестов на холме, но уже начала утомлять Эндерби. Интересно, может, этрусский язык взаправду так звучал? Было слышно, как по главной дороге, за темными и безымянными деревьями, составлявшими стену этого постоянного двора, крышей которому служили небеса, паломники спускаются к своим автобусам, идут медленно и с достоинством после комичных кульбитов с крутого холма. Если у Весты есть хотя бы толика здравого смысла, она сообразит, где его искать. Впрочем, в нынешнем его настроении ему особо не было дела, найдет она его или нет. Рядом с львинолицым и его футбольной литанией развалился патриот, который не верил, что Муссолини взаправду мертв: как король Артур, он восстанет с обнаженным мечом и отомстит за новые обиды своей страны. Этот говорил, что англичане всегда были друзьями Муссолини: итальянцы и британцы рука об руку сражались, чтобы изгнать поганых тедеско<sup>[46]</sup>. Он часто кривил одну сторону лица на Эндерби, поднимал большой палец, точно император на играх, и заговорщицки подмигивал. Были тут и другие выпивохи, многие с плохими старческими зубами, а у одного на плече сидел неухоженный попугай, пронзительно вопивший отрывок из арии Беллини. Была еще очень грудастая деваха, сельская красотка по имени Биче, которая разносила вино. Иными словами, недостатка в обществе Эндерби не испытывал и не испытал бы впредь. Он жалел лишь, что его итальянский недостаточно хорош. Но он бормотал «Блэкберн роверс» и «Ньюкастл юнайтед» львинолицему, а патриоту – Аддис-Абеба и «Ля фанкьюлла с Золотого Запада»<sup>[47]</sup>. Тем временем по ту сторону озера с исключительной нежностью заурчал гром.

– Гарибальди, – сказал Эндерби. – Да здравствует итальянская

Африка!

Когда наконец объявилась Веста, приятно грязный питейный дворик тут же оказался дезинфицирован, превратившись в фон для модного дефиле «Вог». Она выглядела усталой, но ее спокойствие и элегантность повергли в дрожь всех присутствующих, заставив даже самых грубых выпивох задуматься, а не сорвать ли кепки со своих голов. Кое-кто, вспомнив, что они итальянцы, сказали услужливо «Molto bella»<sup>[48]</sup> и стали складывать пальцы, точно хотели ущипнуть.

– Так и знала, что найду тебя в подобном месте, – сказала она без вступления. – С меня довольно. Сыта по горло. Ты как будто прилагаешь все усилия, чтобы превратить наш медовый месяц в фарс, а меня выставить круглой душой.

– Садись, – пригласил Эндерби. – Пожалуйста, сядь. Выпей немного отменного фраскати. – Он кивнул на сухую и довольно чистую часть скамьи, на которой сидел сам.

Львинолицый, сообразив, что она Inglese, предположил в ней страсть к футболу и подобострастно сказал:

– «Арс-Анал», – подразумевая футбольный клуб.

Веста сесть отказалась.

– Нет. Ты пойдешь со мной искать автобус. То, что я должна тебе сказать, подождет, пока не вернемся в Рим. Я не хочу рисковать, что сломаюсь на людях.

– Мир, – насмешливо напомнил Эндерби. – Мир и порядок. Ты сыграла со мной очень гадкую шутку, и я это не скоро забуду. По-настоящему грязную шутку.

– Пошли. Автобусы уже отъезжают. Бросай вино и пойдем.

Эндерби увидел, что остается еще пол-литра драгоценной золотой мочи.

– Салют, – сказал он, наполнив стакан.

Его долгий глоток вызвал крики «браво!», не менее пылкие, чем те, что слышались на священном холме, пусть и звучали они не в честь Эндерби.

– Ладно, – сказал он, махая на прощанье.

– Мы опаздываем, – сказала Веста. – Опаздываем на автобус, а не опаздывали бы, если бы мне не пришлось тебя искать.

– Это была подлая шутка, – повторил Эндерби. – Почему ты мне не сказала, что нас везут в Ватикан?

– Не глупи. Здесь не Ватикан, а летняя резиденция. И где, скажите на милость, этот автобус?

Автобусов было пугающе много, и все выглядели одинаково, и во всех

с комфортом обустривались паломники. Автобусы прикорнули повсюду – у обочины дороги, по мелким холмистым улочкам, как большие жуки в складках постели. Веста и Эндерби начали быстро, но пристально осматривать автобусы вместе с пассажирами, точно намеревались их купить. Ни один не казался знакомым, и Веста поскуливала от душевной муки. Сквозь толстую завесу винных паров Эндерби казалось, что сквозь покровы и лоск заученного английского грубо прорывается варварство шотландского просторечия: резких, как маринованный лук, гортанных задненебных звуков и твердых приступов гласных. Она взаправду беспокоилась.

– Да плевать, если нас тут оставят, не велика беда, – сказал Эндерби. – Должно же быть автобусное сообщение, поезда или такси, или еще что. Мы же не в джунглях заблудились.

– Ты оскорбил экскурсовода, – пожаловалась Веста. – Да еще кощунствовал. Эти люди очень серьезно относятся к религии, знаешь ли.

– Ерунда, – ответил Эндерби.

Небо над их рыщущими головами тайком затянули тучи. Сам воздух приобрел зеленоватый оттенок, точно самая атмосфера задумала рано или поздно сблевать. Из-за озера возобновилась нежная дробь, словно кончиками пальцев по литаврам.

– Дождь польет! – взывала Веста. – Ух ты, нас накроет. Мы до нитки промокнем!

Но Эндерби, окутанный винными парами, словно дождевиком, ответил, что беспокоиться не о чем, успеют они на проклятый автобус.

Но они не успели. Едва они подходили к какому-нибудь автобусу, тот норовисто заводился, и шестерни в моторе скрежетали насмешливую брань по адресу исключительно одного Эндерби. Сверху на них смотрели улыбающиеся паломники, кое-какие даже руками махали. Словно бы Веста и Эндерби задали огромную вечеринку и сейчас провожали группы неблагодарных гостей.

– Он специально это сделал! – кричала Веста. – Он на нас отыгрывается. Ох, сколько же от тебя проблем!

Они спешили к другому автобусу, и, как котенок за игрой в догонялки, тот тут же срывался с места. Автобусов уже оставалось очень немного, но Эндерби был в целом более или менее уверен, что в каком-нибудь точно лыбится римское лицо, подлое лицо римского экскурсовода, и римские пальцы складываются жестом подлого триумфа.

Литаврщики по ту сторону озера взяли фетровые барабанные палочки и сыграли несколько нот, а автобусы, точно надеясь сбежать от непогоды,

унесли в столицу. Озеро претерпело сложные металлургические трансформации, а небо, смежив веки дня, начало потеть, а после плакать.

– О боже! – воскликнула Веста. – Сейчас начнется!

И действительно, началось как раз тогда, когда от любого укрытия, кроме деревьев, их отделяло с полмили: небеса раскололись, как бочка с водой, и воздух превратился в вертикальное стекло, на которое сверху выливали ведро за ведром. Они слепо бросились к постоялому двору у озера. Веста спотыкалась на элегантных шпильках, Эндерби держал ее под локоть, оба настолько промокли, что срочность искать убежище отпала. От потопа и перхоти у Эндерби зачесался скальп, а летний бежевый костюм напитался влагой. А вот элегантность бедняжки Весты была совсем загублена: шляпа комично хлопала, волосы повисли крысиными хвостиками, тушь потекла, лицо превратилось в харю рыдающей карги, точно она оплакивала утрату своего шика.

– Внутрь, – выдохнул Эндерби, заводя ее напрямик в фойе, где пахло клеем и свежей краской, в комнату с пустыми стульями и столами, где лощеный мальчик-официант наслаждался бесплатным спектаклем дождя. – Думаю, – отдуваясь, сказал Эндерби, – нам придется снять номер, если у них есть номера. Прежде всего, надо обсушиться. Возможно, они...

Официант что-то выкрикнул, потом обратил молодое пустое лицо к промокнувшей парочке.

– Una camera, – сказал Эндерби. – Si e possibile<sup>[49]</sup>.

Мальчик крикнул снова, крик перешел в мальчишеский лай контрапунктом к барабаниющим каплям. Пришла сливочнотолстая женщина в цветастом платье, сочувственно поцокала, быстро усмотрела кольцо на пальце Весты и сказала, мол есть camera с одной letto<sup>[50]</sup>. На фоне ее улыбчивой дородности Веста казалась хнычущим безпризорником.

– Grazie, – поблагодарил Эндерби.

Молния на мгновение рассекла предвечернее небо, литаврщики отсчитали полтакта и выдали отличную дробь, взяв космические аккорды Берлиоза. Веста перекрестилась. Ее била дрожь.

– Зачем это ты? – спросил Эндерби.

– О боже, он меня так пугает! Терпеть не могу гром.

От этих слов желудок у Эндерби подскочил и перевернулся.

В номере наверху они столкнулись с проблемой наготы. По какой-то

причине Эндерби не пришло в голову, что, стащив промокшую одежду и побросав ее за дверь, они окажутся друг перед другом голыми. Такому полагалось происходить иначе: намеренно, из желания или чувства долга. Эндерби старался разом осмыслить слишком много других вещей, чтобы предвидеть сию безгрешную пока картину (и на вершине холма неподалеку восседал так четко укладывающийся в общую схему великий безгрешный свидетель), поскольку комната слишком уж напоминала комнату его детства: картинки с изображениями святого Иоанна Крестителя, Святейшего Сердца, Блаженной Девы Марии, мелодраматичной Голгофы, запах нечистых простыней, пыли, книг и застоявшейся святой воды, истертый, невыбитый ковер, узкая кровать. Тут, в Италии, эти декорации стольких подростковых монодрам вовсе не наводили тоску: его мальчишеская комната всегда была анклавом мятежа в стане мачехи. Очень ясно ему вспомнились строки одного его неопубликованного стихотворения:

И были то времена, непонятые родными,  
Когда я, пятнадцатилетний, на летней  
ночной постели,  
Верил в древние города, где побываешь однажды, —  
На дальней станции заброшенная платформа,  
Билет, что куплен, пока стояли часы.  
Кто перережет прошлому горло? Вот мальчик  
на дружелюбной постели —  
Как на непознанной матери, входит в лоно  
Истории —  
И обладает ею. Должно быть, моим слезам  
Еще не хватает смятой, нестираной той подушки,  
Постели, измаранной грязью былых эпох, —  
Глупость, мерзость и вши Золотого века,  
Но материнская нежность абсолютного рая...

Он несколько раз кивнул, стоя голым в дождливой Италии, думая, что это не мачеха, а мать, которую он всегда хотел, и что он сам сотворил ту мать в своей комнате, создал ее из прошлого, из истории, из мифа, из искусства стиха. Сотворенная стихом, она стала стройнее, моложе, больше похожей на любовницу; она стала Музой.

Молния вновь пронзила небесную твердь, а потом, после тщательного

отсчета, смеющиеся барабанщики выбили дух из своих резонирующих мембран. Веста издала слабый вскрик, обхватила руками торс Эндерби и постаралась вдавиться в него, точно он был огромных размеров выпотрошенным кроликом, а она – горкой трепещущей начинки.

– Ну же, ну же, – сказал Эндерби, добрый, но опасливо встревоженный: жена не имела права приносить мачехины страхи в комнату его отрочества. Потом он вспотел, увидев нечто большее, чем просто страх перед громом. И все же он прижал ее к себе и погладил лопатки, думая, насколько, до какой же степени такому нагому прикосновению свойственна несоблазнительная искренность: шлепок ладони по ягодице; жележный звук, с каким расходятся два влажных сегмента плоти. Веста поежилась, из-за дождя сильно похолодало.

– Тебе лучше лечь в кровать, – посоветовал Эндерби.

– Да, – ее передернуло. – Да. В кровать.

И она потянула его к кровати, ее хватка не ослабевала, так что они пошаркали к ней, точно в неуклюжем танце. Едва они рухнули туда, молния прорезала небо растрепанной пасмой, сложившись в силуэт поверженного мужчины на фоне скалы, а после барабаны разнесли усиленную дробь по небесам. От страха Веста снова попыталась проникнуть в него, в довольно мягкую немолодую скалу, и он почувствовал запах ее ужаса, такой же знакомый, как и смутно маслянистый запах покрывала.

– Будет, будет, – повторил он, прижимая ее к себе, глядя и утешая.

Кровать была очень узкой. Эндерби несколько раз напомнил себе, что это его молодая жена, разумная и желанная женщина, и сейчас под громом и дождем самое время думать о совершении... то есть о заключении... то есть... Он незаметно ощупал себя, чтобы узнать, что думает о подобной констатации его тело, но внизу все было тихо, точно он спокойно читал Джейн Остин.

Дождь унялся, и гром, ворча, укатился. Эндерби почувствовал, как ее тело расслабляется, увлажняется, выжидает. Она все еще за него цеплялась, хотя уже не было грома, чтобы его бояться. Механизмы тела Эндерби, заржавелые и ленивые, старались проснуться и отреагировать на различные совершенно неоригинальные ганглиозные стимулы, но возникли некоторые тайные и постыдные сложности. Эндерби был испорчен слишком многими картинками. Слишком много времени прошло с тех пор, как он держал в объятиях реальную женщину. В воображении он обладал десятками гурий, о красоте, податливости, роскошности которых не могла даже мечтать реальная женщина. Возможно, если бы тело, которое он обнимал, могло бы стать – всего на двадцать или тридцать секунд – какой-

нибудь такой гаремной мечтой, ухоженной, капризной, надушенной и пышнотелой, он непременно достиг бы того, что было его прямым долгом, не говоря уже об удовлетворении. Но тело жены было худым, почти костлявым. В отчаянном усилии он вызвал вульгарный и жуткий покачивающий титьками образ, понял, кого видит перед собой, и, издавая рыгающие звуки ребенка, которого сейчас стошнит, с нежеланной ловкостью соскочил с кровати и застыл на истертом половике.

– В чем дело? – окликнула она. – В чем дело? Тебе нехорошо?

Забыв, что он голый, Эндерби, не ответив, бросился вон из комнаты. Через две двери по коридору оказалась табличка Gabinetto, и Эндерби, окунувшись в прошлое, вошел и запер за собой дверь. И к ужасу своему увидел, что уборная – не разумный, чистый и комфортабельный английский ватерклозет, а континентальная дыра в полу с поручнем под правую руку и рулоном туалетной бумаги с той же стороны. Некогда, много лет назад, он упал в одну такую дыру. Он почти заплакал по безопасности своего старого приморского сортира, но, когда он отпирал дверь, собираясь уйти, его слезы высохли при звуках двух женских голосов в коридоре. Неизвестная дама, которая громко приветствовала другую, была теперь прямо у двери gabinetto и дергала за ручку. Эндерби поспешно заперся снова. Голос настоятельно твердил (впрочем, откуда было Эндерби знать, так ли это?), что его обладательнице плохо, что она в отчаянии и не может ждать слишком долго. Сев на краешек дыры, Эндерби повторил несколько раз:

– Уходите. Уходите, – и подумав добавил: – Io sono nudo, complemente nudo<sup>[51]</sup> – недоумевая, правильно ли построил фразу.

Правильно или нет, но голос замолчал и, очевидно, удалился вместе со своей хозяйкой по коридору. Совершенно голый Эндерби остался сидеть в позе мыслителя, попав в худшую в своей жизни передрыгу.

## 5

Как арабский вор, хотя и далеко не такой юркий, Эндерби проскользнул назад в номер. Веста сидела в кровати, куря через мундштук корабельную «Вудбайн», и потому выглядела более голой, чем была, хотя такое, подумалось Эндерби, на деле невозможно.

– Ну так вот, – сказала она, – мы сейчас поговорим по душам.

– Нет, – проямлил Эндерби. – Не так.

Он пристыженно сел на плетеный стул в углу, ерзая и морщась,



поскольку острые кончики размахившейся лозы впились ему в мягкое место.

– Нет, – повторил Эндерби, – не без одежды. Так неправильно. – Он сложил руки как для молитвы и за этой хрупкой клеткой из пальцев спрятал свои гениталии от курящей женщины в кровати. – То есть нельзя обсуждать что-то серьезное голыми.

– Кто ты такой, чтобы так говорить? – свирепо спросила она. – Что ты знаешь о мире? Мы с моим первым мужем принадлежали к группе нудистов (Эндерби всхлипнул от внезапной официальности выражения «первый муж»), и там бывали по-настоящему влиятельные мужчины и женщины, и у них не было никакого pudeur<sup>[52]</sup>. И могу добавить, – едко добавила она, – им было о чем поговорить, кроме сортиров, желудков и того, какой прогнившей была Римская империя.

Эндерби уныло посмотрел за окно: дождь перестал, июньская жара приободрилась и снова проникла в итальянский вечер. Воображение вдруг нарисовало ему толстую, с обвисшим брюхом профессоршу-нудистку средних лет, у которой груди висели кабачками и которая разглагольствовала про эстетические ценности. Это его немного развеселило, поэтому он храбро повернулся к Весте.

– Тогда ладно. Давай поговорим начистоту, всю чертову подноготную вытащим. Что за игру ты затеяла?

– Я тебя не понимаю. Ничего я не затевала. Я тружусь изо всех сил – безо всякой помощи с твоей стороны, чтобы построить наш брак.

– И ты собираешься строить брак, затащив меня назад в церковь, да? – спросил Эндерби, наполовину открывая гениталии, чтобы жестикулировать одной рукой. – К тому же гаденько, тайком! Не сказала, что католичка, и на свадьбу в отделе записи гражданских актов согласилась, а сама ведь знала, что такая свадьба вообще ничего не значит.

– Так ты это признаешь? Ты признаешь, что это вообще ничего не значит? Иными словами, ты признаешь, что единственный действительный брак церковный?

– Ничего я не признаю! – воскликнул Эндерби. – Я говорю только, что я в замешательстве, совершенно сбит с толку, что решительно не понимаю, что тут происходит. Я про то, что мы женаты всего несколько дней, а ты уже переменилась. Ты ведь не была такой раньше, верно? Ты не была такой, когда мы жили в твоей лондонской квартире. Тогда все было хорошо. Ты была на моей стороне, ты занималась своим делом, а я – своим, и все было прекрасно. Приятно и мило и без единой заботы. Но только посмотри, что сейчас творится. С тех пор как мы поженились, а это было всего

несколько дней назад, если ты помнишь (два пальца подняты, пять на гениталиях), – ты делаешь все, черт побери, чтобы превратиться в мою мачеху.

Рот Весты открылся, из него лениво выбралась струйка дыма.

– В кого, ты сказал, я превращаюсь?

– В мою суку-мачеху. Ты еще не толстая, но, полагаю, скоро растолстеешь. Ты все время рыгаешь, и говоришь «бэ-э», и на меня нападаешь – пилишь и придираешься, придираешься и пилишь, – ты боишься дурацкого грома и стараешься затащить меня назад в церковь. Почему? Вот что я хочу знать! Зачем? Зачем это тебе? Чего ты добиваешься?

– Бред какой-то. Бред и домыслы, – тяжело сказала она. – Это совершенно невероятно... Это совершеннейший бред.

Она явно собралась встать. Поняв, что сейчас произойдет, что зримой наготы сейчас в комнате будет излишек, Эндерби метнулся с болтающимися гениталиями через комнату, толкнул ее назад на кровать и натянул на нее простыни.

– Поменьше фривольности, если ты не против, и ерунды поменьше. До того как мы поженились... Слушай меня, я с тобой разговариваю! До того как мы поженились, ты была всем, о чем я мечтал с тех пор, как был мальчишкой. Ты была всем, чем не была она, ты была высвобождением, ты была выходом. Ты была тем, что покончило бы с ней раз и навсегда. А теперь посмотри на себя!

Точно он был чужим человеком, который только что к ней вломился, жена натянула на грудь серую простыню, и вид у нее стал испуганный.

– Ты пытаешься затащить меня назад в тот старый мир? Да? Назад в чертову церковь и женские запахи повсюду...

– Ты пьян, – сказала она. – Ты с ума сошел.

В дверь постучали, и Эндерби, жестикулируя, пошел открывать, красуясь теперь наготой так, как новеньким костюмом.

– Пьян, да? С ума сошел, да? Это ты меня опоила, вот в чем дело.

Он открыл дверь, и хозяйка дома подала ему стопку выглаженной высушенной одежды.

– Tante grazie<sup>[53]</sup>, – сказал Эндерби и, повернувшись назад к жене, представил свой зад signora. Она захлопнула дверь и ушла, громко бормоча что-то по-итальянски.

– Все пошло совсем не так, как я ожидал, – сказал Эндерби, бросая одежду на кровать. – Это была чертовски большая ошибка, вот что это было.

Жена потянулась за блузкой, сердито, суетливо дрожа.

– Ошибка, говоришь? Ничего себе благодарность, должна я сказать, ничего себе благодарность!

Она помедлила. Одна рука уже лежала на одежде; она глубоко дышала, словно по спине ее забродил стетоскоп, и смотрела куда-то вниз, стараясь овладеть собой.

– Я сдерживаюсь, как видишь, – спокойно сказала она. – Кто-то же должен сохранять здравый рассудок.

Прыгая на одной ноге, Эндерби надевал трусы.

– Послушай меня, – сказала она, – послушай. Ты как ребенок. Ты совсем ничего не знаешь о жизни. Когда я только с тобой познакомилась, то подумала: ужасно, что такой талантливый человек живет вот так. Нет, дай мне договорить, не то я сорвусь.

Эндерби пробормотал что-то из недр рубашки.

– У тебя не было женщины, – продолжала она. – Ты ни во что не верил, у тебя не было чувства ответственности перед обществом. О, знаю, у тебя были эрзацы всему этому, – сказала она горько. – Грязные фотокарточки вместо плоти и крови.

Эндерби повторил танец с прыжками, на сей раз надевая штаны, хмурясь и краснея.

– Твой мир, – сказала она высокопарно, – съежился до самой маленькой комнаты в доме. Разве это жизнь для мужчины? – спросила она с нажимом. – Разве это жизнь для поэта? Разве ты так собирался творить великую поэзию?

– Поэзия, – откликнулся Эндерби. – Не заводи про поэзию. Про поэзию я лучше тебя знаю, спасибо, – фыркнул он. – Позволь сказать тебе вот что. Никто не обязан принимать общество, женщин или религию, вообще никто никому не обязан. Что до поэзии, то это удел анархов, то есть для тех, кто общество не приемлет. Стихи пишут мятежники, изгнанники, аутсайдеры, ее пишут те люди, кто сами по себе, а не овцы, блеющие «браво» папе римскому. Поэтам не нужна религия, и глупые сплетни на вечеринках с коктейлями им тоже не нужны. Они сами творят язык, они сами творят мифы. Поэтам никто не нужен, кроме них самих.

Взяв бюстгальтер, Веста устало застегнула его, точно необходимое орудие искупления.

– Тебе как будто понравилось ходить на вечеринки. Ты как будто думал, что неплохо носить приличный костюм и разговаривать с людьми. Ты говорил, это цивилизованно. Как-то вечером, возможно, ты забыл, ты прочел мне длинную скучную лекцию про поэта и общество. Ты даже

потрудились поблагодарить меня, что спасла тебя от старой жизни. Однажды, – она вздохнула, – ты совершенно ясно дашь людям понять, чего именно ты на самом деле хочешь.

– Ну, это было довольно мило, – уступил Эндерби. – Приятная перемена. Приятно было быть чистым и подтянутым, понимаешь, и слушать людей с образованной речью. Понимаешь, это так отличалось от моей мачехи. – Теперь, совершенно одетый, он с уверенностью уселся на плетеный стул в углу. – Но если общество означает возвращение в церковь, я не хочу иметь с ним дела. Для меня церковь намертво связана с той полной предрассудков мерзавкой, злобной и нечистой.

– Какой ты глупый, – сказала Веста, быстро и опрятно скользнув в платье. – Такой неотесанный. Лучшие умы современности принадлежат к церкви. Поэты, романисты, философы. Только потому, что глупая неграмотная женщина извратила для тебя религию, не означает, что она сущая ерунда. Ты глупец, но не настолько же. И вообще, – щелчком открыв сумочку, она стала рыться в поисках расчески, – никто не просит тебя вернуться в церковь. Церковь, надо полагать, прекрасно может без тебя обойтись. Но если я возвращаюсь, ты мог бы хотя бы проявить толику вежливости и порядочности и сделать вид, что возвращаешься со мной.

– Ты хочешь сказать, нам придется пожениться по-настоящему? Чтобы нас обвенчал священник в церкви? Послушай, почему ты обо этом не думала раньше? – Он скрестил на груди руки и закинул ногу на ногу. – Почему тебе понадобилось ждать нашего медового месяца, чтобы решить, что хочешь снова блеять в стаде? Не отвечай, я сам знаю ответ. Потому что ты хочешь войти в историю как женщина, которая преобразила жизнь, веру и творчество Эндерби. Вот что говорил Утесли, но я об этом раньше не думал, потому что и правда считал, что ты питаешь ко мне нежные чувства, но теперь, при трезвом рассмотрении, я понимаю, что это невозможно, я ведь некрасив, далеко немолод и, как ты была добра указать, глуп. Ладно, зато теперь мы знаем, как обстоят дела.

Она расчесывала волосы, скрипя зубами, когда расческа цеплялась за колтуны. И цвет пенни засиял, потрескивая, возобновленный после крысинохвостиковой тусклости.

– Дурак, дурак, дурак, – повторила она. – А я-то надеялась, что мы сможем построить семью. Мы все еще можем. Разумеется, если ты думаешь, что Утесли стоит доверять больше, чем мне – кстати, не забывай, Утесли до смерти тебе завидует, – то это твое дело, можешь продолжать в том же духе. Факт в том, что при всей твоей глупости я к тебе очень привязана и одновременно чувствую, что могу сделать тебя счастливее,

сделав тебя более нормальным, более разумным.

– Ну вот видишь! – победно воскликнул Эндерби.

– Да ерунда. Я говорю вот о чем, творцу нужно место в мире, он должен быть чему-то предан, и ему нельзя утрачивать связь с течением жизни. Ведь беда-то с твоим творчеством, что читается оно как совершенно от жизни оторванное.

– Очень интересно, – откликнулся Эндерби, все еще не расслабляя рук. – Очень, очень увлекательно.

– Бр-р, – сказала она, опадая, точно внезапно очень устала. – Да какая разница? Кому будет дело, пишешь ты великие стихи или нет? Самый нелепый малолетний поп-певец в миллион раз уважаемее тебя. Продается лишь десяток экземпляров каждой книги, какую ты пишешь. Случится ядерная война, и библиотеки будут уничтожены. Какой толк? Какой может быть толк, если не верить в Бога?

Совершенно пав духом, она села на кровать и беззвучно заплакала.

Эндерби тихонько подошел к ней.

– Прости, мне ужасно жаль. Но думаю, я слишком стар, чтобы взаправду учиться жить по-другому, слишком стар, чтобы измениться. Может, нам лучше признать, что все это ошибка, и вернуться к тому, как было раньше? Ничего плохого ведь пока не случилось, правда? Я хочу сказать, мы ведь даже не женаты по-настоящему.

Она строго подняла глаза.

– Ты как ребенок. Ребенок, которому не понравилось первое утро в школе, а потому он говорит, что завтра он туда не вернется. – Она вытерла глаза и снова стала уверенной в себе, нестигаемой. – Никто не выставит меня на посмешище, – сказала она. – Меня нельзя бросить.

– Ты могла бы аннулировать брак, – сказал Эндерби. – По причине невступления в супружеские отношения. Мы ведь никогда в них не вступим, сама знаешь.

– Ты надеешься, – сказала Веста, – вернуться назад и жить на крошечный, но сносный доход, писать стихи в сортире... Но этому не бывать. Ту толику капитала, что у тебя осталась, получу я. Об этом я позабочусь. И то, что ты купил, куплено на мое имя. Никто не выставит меня на посмешище.

– Я могу найти работу, – рассердился Эндерби. – Я ни от кого не завишу. Я могу быть самостоятельным. – Тут он почувствовал, как на глаза ему наворачиваются слезы жалости к себе. – Поэта, – всхлипнул он, – лучше оставить жить в одиночку. – Сквозь слезы он видел путанные образы дантовых орлов, парящих вокруг освещенных молниями пиков. Встав с

краешка кровати, он пошел стоять в углу. – Поэта надо оставить в покое, – повторил он, ревя как семилетний жених елизаветинских времен, который плачет, что нельзя поехать домой с папой.

## Глава третья

### 1

– Пришел я главным образом, – бормотал, пошатываясь, Утесли, – преподнести вам... – Покачнувшись, он порылся в карманах, откуда извлек старые и грязные, стертые по сгибу бумажки, две полупустые трубочки желудочных таблеток, пушистых от пыли, судейский свисток, иссохшую погремушку стержня авторучки и, наконец, чистый конверт. – Вот это. Билеты на премьеру. Думаю, мой старый добрый Эндерби, вас это уместно развлечет. У меня нет дальнейшего интереса к означенному фильму, помимо того что я приложил руку к его созданию. И, позвольте вам сказать, Эндерби, это дешевый фильм, фильм, снятый на скромные сбережения, фильм на скорую руку и с реквизитом, позаимствованным – безо всякого разрешения, понимаете – из других фильмов. Стрега, – внезапно обратился он к Данте за стойкой.

Как и в первую их встречу, в баре они сидели одни. Эндерби чувствовал себя старым и потасканным, во рту словно был привкус автомобильной шоколадки в глазури из крушины. Дело было на следующий день после возвращения из папского городка на озере, близился полдень, и Веста ушла повидаться с какой-то княгиней по имени Ирена Галицына, римской дамой, известной своими бутиковыми моделями или дизайном кутюр или еще чем-то в таком роде. Веста быстро спускала деньги.

– И, разумеется, ведь этого мир ждет от Италии, – сказал Утесли, – сколько-то *sfacciate donne Fionrentine*<sup>[54]</sup>, вот только никакие они не флорентийки, а римлянки, *mostrando con le poppe il petto*<sup>[55]</sup>. Там вы, Эндерби, увидите, как бесстыжие мерзавки показывают сиськи до самых сосков. Данте был великим пророком, он предвидел итальянскую киноиндустрию. Данте!

Данте за стойкой поклонился.

– Однофамильцы, – доверительно сообщил он Эндерби, продолжая покачиваться. – То еще гребаное совпадение, а? У Данте все найдется, если поискать. Даже название фильма, который вы пойдете смотреть, взято из «Чистилища». Я нашел это название, Эндерби, я, английский поэт. Ведь ни один из этих безбожников-римлян даже взглядом Данте не удостоил с тех пор, как окончил школу, если вообще в школу ходил.

Достав из конверта пригласительные билеты, Эндерби увидел, что фильм называется L'Animal Binato, «Двусущный зверь». Название ничего ему не говорило. Повернувшись к бутылке фраскати на стойке, он налил себе стаканчик.

– Много пьете, Эндерби, понимаю, понимаю, – сказал Утесли. – Если позволите похабную догадку, это потому, что в дело пошли мускулы, которых вы никогда не использовали раньше. Венера мерзнет без Бахуса и Цереры, ну да пошла бы эта богиня завтраков и сериалов. Стреги! – крикнул он, энергично кивая.

– Больше я вас домой не повезу, – сказал Эндерби. – В прошлый раз с вами чертовски много было хлопот, Утесли, и вы выставили меня круглым идиотом. Если собираетесь выключиться тут, то и оставайтесь в отключке, вам ясно? У меня и так забот полон рот...

– Он в рифму говорит! – с наигранным восхищением крикнул Утесли. – Он все еще очень даже поэт! Но сколько еще, а? – сузив глазки, спросил он зловеще. – Муза, о Эндерби. Муза уже заглядывала сказать, что заказала билет в один конец на Парнас или где там еще она обитает? Ее долгий срок службы у Эндерби закончен, и пришло время Эндерби отречься от ее магии, ибо Муза в отличие от Ариэля не воздушный бесполой раб, но женщина, до мозга костей женщина. – Утесли вдруг словно скукожился и сильно постарел. – Возможно, Эндерби, мне было не суждено добиться большого успеха у этой женщины, из-за... ну знаете... то есть... так сказать... сексуальной амбивалентности. – Он вдохнул, всколыхнув литр или около того воздуха римского бара и влил в себя декалитр или около того стреги. – А теперь, понимаете, Эндерби, я снова при делах. Сегодня под вечер, если быть точным. Поэтому вам не придется везти меня ни домой, ни куда-либо еще. Приедут люди из «Бритиш эйрвейз» и заберут меня – отличные ребята. Посадят меня в самолет... Куда я лечу, Эндерби? – Он плутовато осклабился и погрозил пальцем. – Э, об этом молчок. Достаточно будет сказать, что я держу путь на юг. Я свое отхватил. – Подмигнув, он похлопал себя по правому нагрудному карману. – И теперь малыши Марко и Марио, и тот чертов пьемонтец могут, говоря словами Мильтона, пойти сами знают куда. Я с ними, Эндерби, покончил. Покончил, Эндерби! – сказал он громко и для верности ударил кулаками по столу. – Со всеми ними! Со всеми вами то есть. Познай самого себя, как говорится, проснись. Поэт должен быть один.

Эндерби обиженно надулся, доливая себе остатки из бутылки фраскати. Не Утесли указывать, как ему жить. Он достал из кармана листок бумаги, на котором делал подсчеты.



– Вы знаете, сколько стоит норка? У меня тут все записано. – Он очень тщательно выговаривал слова. – Одна норковая шуба «Блэк даймонд» – тысяча четыреста девяносто пять фунтов. Один норковый жакет до бедер – пять тысяч девяносто пять фунтов. Одна серебристая норковая накидка – триста девяносто пять фунтов. Норковую столу можно сбросить со счетов, это же несерьезно – каких-то двести фунтов. Так, каприз, пустяк. – Эндерби глуповато улыбнулся. – Что делать поэту, у которого нет денег, а? Как поэту жить?

– Ну, можно пойти работать, – протянул Утесли, обеими руками обхватив очередную рюмку стрегу, словно ее следовало задушить. – Работа самая разная бывает, знаете ли. Только самые удачливые могут быть профессиональными поэтами. Вы могли бы преподавать, или писать для газет, или писать сценарии к фильмам или рекламные слоганы, или читать лекции для Британского совета, или вообще на фабрику пойти. Много чего можно делать...

– А что если предположить, что поэт умеет только стихи писать? – возразил Эндерби. – Что если во всем остальном он представляет себя дураком?

– Сомневаюсь, что кто-то способен настолько выставить себя дураком, чтобы это имело значение, – логично возразил Утесли. – На вашем месте я все предоставил бы тетушке Весте. Она подыщет вам непьющую работенку.

– Но всего минуту назад вы говорили, что я должен быть один, – запротестовал Эндерби.

– Вижу, – сказал Утесли, заглядывая в свою стрегу. – Ну, в таком случае у нас бардачок-с, да, Эндерби? Но не отвлекайте меня глупыми заботами, у меня и своих полно, знаете ли. Сами разберетесь.

Внезапно он протрезвел и как будто даже замерз, невзирая на июльское тепло. Опрокинув стрегу, он преувеличенно поежился, точно принял полезное, хотя и горькое лекарство.

– Наверное, мне следовало раньше начать спиваться, – сказал он. – Тогда я, возможно, уже был бы мертв и не стал бы отцом, ну, приемным, или помогал бы с незаконным отцовством «Двусущного зверя», здоровехонький и почти невосприимчивый к убийственному воздействию алкоголя. Честь по чести, Эндерби, надо было придумать, как мне с собой покончить, когда я обнаружил, что поэтический дар меня покинул. Хотя бы исхитриться быть невнимательным при переходе улицы, верно? И во время войны податься не в отдел пропаганды, а на фронт добровольцем.

– А каково это? – с патологическим интересом спросил Эндерби. – То

есть когда поэтический дар уходит?

Утесли пригвоздил Эндерби взглядом таким злобным, что Эндерби нервно заулыбался.

– Разрази вашу подлую душонку, здесь не над чем смеяться, даже задним числом. – Тут он подался к Эндерби, побаловав его панорамным кадром скверных зубов и еще худшим запахом изо рта. – Это как умереть внутри. Как онеметь. Я совершенно ясно понимал, что следует сказать, но не мог этого сказать. Я ощущал воображаемое сродство между двумя различными предметами, но не мог сказать, в чем оно заключается. Я часами сидел над листом бумаги, часами и часами, Эндерби, а потом наконец что-то из себя выдавливал. Но то, что мне удавалось выдавить, – не смейтесь надо мной! – отдавало тленом. То, что я выдавливал, было зло, и меня передергивало, когда я комкал и бросал бумагу в огонь. По ночам я просыпался от издевательского смеха. А потом... – Утесли зашатался на стуле. – Однажды ночью раздался ужасный щелчок, и все в комнате как будто стало холодным, холодным и непристойным. Я понял, Эндерби, что все кончено. И потому я останусь за границами Сада, никчемный и, что важнее, Эндерби, грешный. Как священник-расстрига. Лишенный сана священник не становится простым безобидным смертным. Он должен стать сосудом чего-то, ибо сверхъестественное чурается сверхпустоты, а потому он становится сосудом греха. – Он глотнул еще стрегги и пошатнулся. – И все, что остается поэту, когда ушло вдохновение, Эндерби, – пародия, плагиат, популяризация, фальсификация, проклятие. Он испил млека рая, и оно давно прошло через его организм, Эндерби, но, к великому своему несчастью, он помнит вкус. – Утесли закрыл усталые глаза и произнес неразборчиво: – Ага vos грес. Когда придет время, вспомните мою боль. Я вам переведу, Эндерби, оригинал на старопровансальском, и вы не поймете. Это сказал поэт Арно Даниэль в Чистилище. Везучий был чертяка – или есть, – Эндерби, он везучий чертяка, что попал в Чистилище. В отличие от кое-кого из нас.

Тут Утесли очень тихо заснул стоя, опустив голову на руки, которые сложил на стойке.

– Пусть он лучше спать, – с ошибкой, но совершенно верно подытожил Данте.

У дальней стены стояло сливового цвета канапе, и Эндерби с Данте оттащили туда Утесли.

– Переборщил со стреггой, – поставил диагноз Данте.

Вздохнув, Эндерби сел рядом с Утесли и под свежую бутылку фраскати на небольшом столике продолжил свои подсчеты в столбик.

Время от времени Утесли раздражался из сна гномическими афоризмами, зачастую полными невнятного смысла: доклады первого сбрендившего путешественника в дальнем космосе:

- Нет оплаты дыхания в падении с лестницы.
- Марио, убери хлебный нож.
- Ты непослушный мальчик, зато премиленький...
- Во всех антологиях.
- Эндерби от этого совсем тошно станет.

И действительно, Эндерби едва не стошнило, когда он закончил подсчет и обнаружил, что на его кредитном счету в банке осталось в лучшем случае чуть больше четырехсот девяноста фунтов. Бессмысленно было спрашивать себя, куда подевались деньги, он и так прекрасно знал, что они вернулись к своему истоку: мачеха дала и мачеха (в своем моложавом, велеречивом, голубицыно-мягком, весно-пахнущем, совершенно невероятном облики) забрала снова.

– Эй вы! – окликнул из сна Утесли. – Не команду на суда набирайте, а женщин с детьми. Всех остальных пристрелю. Назад, скотина, назад. Стремительный, умненький трудяга море-океан, совсем в духе старины Дж. М. Хопкинса. Эндерби был весьма средним поэтом. Очень умно с его стороны собрать вещички.

– Ничего я не собираю, – строго ответил гласу из далекого космоса Эндерби.

Это на время успокоило второе я Утесли. А самому себе Эндерби сказал: «Если я сумею оставить отношения на самом поверхностном уровне, ведь поверхностно я к ней очень привязан, то, возможно, удастся скроить сколько-нибудь сносное сосуществование. Но я не дам собой помыкать. И в конце концов у нее хорошая работа, а при крайней необходимости я могу отказаться искать работу или чтобы мне ее искали. В доме в Сассексе много комнат. И с кишечником у меня теперь лучше».

Голос спящего Утесли из дальнего космоса заговорил снова:

– Я сделаю, как сказал, Винсент. Не позволю называть Регги старым трансвеститом. Он не старый. – И еще: – Богу должно быть лестно, что мы его изобрели. – И наконец, перед тем, как впасть в настоящий бессловесный сон, голосом Йетса, говорившего голосом Свифта, говорившего голосом Иова: – Да будет проклят день, когда я родился.

Эндерби поежился, вино показалось ему резче обыкновенного.

На премьеру фильма они опоздали. Кинотеатр находился на неизвестной улочке где-то возле Авентинского холма, и таксист с трудом ее нашел. Сначала он – в духе всех таксистов – отрицал существование того, о чем сам не знал, пока Эндерби не помахал перед его обусенным лицом пригласительными билетами.

Фасад кинотеатра не делает чести остальному Риму, подумал Эндерби, помогая Весте выйти из машины. Скульптурно и архитектурно остальной Рим был мусорным, однако мусорным в барочном и гипнотическом масштабе – сродни мании величия заговаривающегося пациента психиатрической клиники. Но тут, судя по виду, был аутентичный вшивый театрик, воплощение всех и каждой киношки, перед какой ребенком Эндерби стоял в очереди после обеда в воскресенье: потная ладошка сжимает два пенни, другие ребятишки в грязном джерси льнут к нему, боясь потерять в толчее у входа, ведь Эндерби единственный из них, кто умеет читать. По-своему немое кино былых времен, думал Эндерби, было продолжением литературы. Теперь он сказал Весте:

– Это из таких мест, кудаходишь в блузке, а выходишь в мужском свитере задом наперед.

Он шутливо ущипнул ее за локоть, но она поглядела на него с королевской невозмутимостью.

– Блузка? – переспросила она. – На мне нет блузки.

На деле на ней был черный шелковый наряд из ателье ее римской леди: платье без рукавов, с глубоким декольте и юбкой-карандаш, норковые хвостики свисают с плеч из-за вечерней прохлады. Эндерби был в белом смокинге, черный шелк в нагрудном кармане под стать галстуку. Но, судя по всему, ему незачем было так трудиться: не было ни восторженных толп, ни толчеи из «Кадиллаков» и «Бентли», и рты кинозвезд не растягивались маниакально кораллом и слоновой костью навстречу вспышкам. Было несколько оставленных без присмотра буржуазных «Фиатов», по всей очевидности, за рулем сидели сами владельцы. Натянутый поперек ветшающего рококошного фасада транспарант в обрамлении дешевых разноцветных лампочек гласил: «L'ANIMAL BINATO». Принявший их пригласительные билетер что-то уныло жевал, а его скошенный подбородок был скверно выбрит. Это было не к лицу Весте настолько же, насколько было не к лицу Риму. Разумеется, подумал Эндерби, про Эндерби разговору нет, его мало может разочаровать.

Светя фонариком, капельдинер провел их на места. Эндерби почувствовал под собой рваный дешевый плюш и учуял в темноте сильный цитрусовый запах. Ну да, конечно, оранжевый, бескровный оранжевый

проектор согревал потертый занавес. И этот занавес, словно только и ждал Эндерби и его жену, раздвинулся под громкую киношную музыку, банальную и привычно зловещую. Эндерби всмотрелся в темноту: судя по ощущению и шумам, народу немного. На экране возникли слова L'ANIMAL BINATO, за ними последовали подергивающиеся и расплывающиеся кадры с именами съемочной группы: Альберто Формика, Джорджо Фарфалла, Мария Вакка, А.Ф. Корво, П. Раноччо, Джакомо Капра, Беатрис Паппагалло, Р. Кониго, Джованни Чиоччола, Джина Гатто. Имя Утесли появилось поближе к концу, италианизированное, насколько мог судить Эндерби, во что-то вроде Утесоччо. «И поделом ему», – подумал Эндерби, о чем сказал Весте. Та в ответ только шикнула. Фильм начался.

Ночь, очень даже ночь, с истерзанными ветром кипарисами, освещенными молнией. Гром (Веста ногтями впиалась в руку Эндерби). Грозовой ветер. Камера переходит на ступени террасы, на которой стоит красивая женщина, итальянская грудь практически обнажена навстречу молнии. Она избито вздевает руки к грозовым небесам в раскатах грома. Камера скользит на небо. Еще одна расхожая молния раскалывает небо как чайную чашку. Гром (ногти Весты). Новый угол съемки: что-то стремительно несется по небесному своду, сверкает белизной. Переход на деревянную статую коровы, подсвеченную молнией. Красивая грудастая женщина величественно идет через грозу к деревянной корове. Молния высвечивает, что она делает что-то непонятное, дергает за какой-то рычаг, затем скрипучая музыка сопровождает кадры раскрывающейся деревянной коровы. На экране появляются две полые полукоровы, женщина забирается внутрь, статуя закрывается. Женщина заточена в корове. Переход на белого быка, фыркающего на гром, рвущегося с неба, – воплощение похоти, летит с небес.

– Знаешь, – удивленно сказал Эндерби, – это прямо-таки поразительное совпадение.

– Шшшш, – ответила Веста.

Эндерби, чьи глаза уже привыкли к темноте, огляделся и обнаружил, что кинотеатр наполовину пуст, но рядом с ним сидит огромный мужчина с брылями и мешками под глазами, в молниях с экрана, в пальцах его дымится сигара – он уже спит и тихонько похрапывает.

День. Обобщенно европейский дворец, красивый усатый царь лет пятидесяти совещается с уважительно бородатыми (фальшивобородыми) советниками. Фанфары. Совещание окончено. Один советник задерживается, лстивый Яго желает поговорить с царем. Взгляд царя

избито мутнеет от подозрения. Странные итальянские слова, которые Эндерби понимал урывками: царица, корова, Дедало. Приказывают привести Дедало. Переход на мастерскую Дедало. Дедало и Икаро, курчавый сын Дедало, мастерят аэропланы. Дедало – очень худой старик. По зову слуги он стаскивает рубашку с короткими рукавами, надевает куртку в стиле 1860-х и идет по извилистым коридорам, эдакий добрый старик с умными глазами и глубокими морщинами. Предстает перед царские очи. Долгое неразборчивое итальянское совещание с красноречивым размахиванием руками. Дедало получает в престарелое лицо от рассерженного царя. Вкрадчивый Яго удаляется, кланяясь, оставляя монаршьё лицо в монаршьих ладонях. Дедало тащат пытаться.

Теперь Эндерби испытывал уже не удивление, а совсем иные ощущения, желудок у него судорожно подергивался и лез в горло, само горло саднило от дурного предчувствия: это не просто совпадение.

– Тебе не кажется, – спросил он Весту, – что это чересчур уж похоже на мою поэму? Ты не...

– Шшшш, – ответила она.

Храпун рядом с Эндерби произнес во сне:

– Тасе. Заткнитесь.

На что Эндерби, которому вспомнился говоривший во сне Утесли, ответил:

– Задницу себе заткни, – а Весте сказал: – Это в точности как «Ласковое чудовище».

Тут он вспомнил, что она поэму пока не читала, если уж на то пошло, даже не выказала желания прочесть. Он мрачно смотрел на экран, где продолжала разворачиваться подлость Рауклиффо.

День. Беременная царица в ссылке, сидит в жалкой хижине со старой каргой. Продолжительное совещание. Родовые схватки. Потом переход на врача, галопом несущегося издалека. Он входит в хижину. Из спальни доносится рев. Врач входит в спальню. Лицо врача крупным планом. Ужас, неверие, омерзение, обморок. Крупный план омерзительной дисгармонии, того, что видит врач: голова теленка на младенческом теле.

– Это мое, – сказал Эндерби. – Говорю тебе, это мое. Попадись мне треклятый Утесли....

– Это ничье, – откликнулась Веста. – Просто миф. Даже я это знаю.

– Тасе, – храпел сосед Эндерби.

Теленок-дитя – со скоростью монтажа – вырастает в быка-человека, отвратительного, мускулистого, выдыхающего огонь, гигантского. Украд с кухни кусок сырого мяса, бык-человек обнаруживает свою плотоядную

природу. Убивает каргу и съедает ее. Пытается убить и мать, но та сбегает и бросается со скалы с криком, но несъеденная. Чистое веселье. Бык-человек высотой с десять домов трусцой направляется в столицу, оставляя за собой след костей. Переход на дворцовые сады, где царевна Ариадна (с чересчур открытой грудью) играет в мяч с хихикающими, показывающими грудь как бы девственными служанками. Крупный план: зверь пускает слюни в кустах. Крики, беготня, Ариадна украдена зверем. Зверь, пуская слюни, уносит кричащую царевну в подвалы столичного музея. Кадры бесценных картин, редких книг, величественных скульптур, звуки прекрасной музыки, пока бык-человек проревывает себе путь в убежище, расцвеченное памятниками культуры. Ариадна показывает еще больше груди, кричит еще громче. Но бык-человек не хочет ее есть, во всяком случае пока.

Эндерби сжал кулаки так, что их костяшки заблестели в прерывистом свете с экрана.

Depouement<sup>[56]</sup>. Альпийско-итальянский герой с головой Муссолини врывается в глубокие подвалы, бродит в темноте, слышит рев быка и крики царевны, находит чудовище и жертву, стреляет, обнаруживает, что от пулю толку нет, поскольку бык-человек со стороны отца пришелец из космоса. Ариадна сбегает с криком, показывая допустимые пределы римского бюста, а воющий, бьющий себя в грудь зверь наступает на героя. У героя, как у князя Велисария, при себе оказывается мешок с перцем. Он швыряет его содержимое, на время ослепляя зверя. Под чиханье-рев-вой герой сбегает. Узрите чудо: на столетия опередив свое время, Дедало и Икаро поднимаются на летающей машине в воздух и сбрасывают бомбу на столичный музей. Вой умирающего быка-человека, грохот падающих статуй, хлопанье и шорох загорающихся книг, Мона Лиза с выгоревшей улыбкой, рвущиеся со звоном струны арф. Гибель культуры, гибель прошлого, рациональное будущее, обнимающиеся влюбленные. У Дедало и Икаро проблемы с мотором. Они падают в море на фоне роскошного заката. Небесные голоса. Конец.

– Попадись мне только этот чертов Утесли... – дрожал Эндерби.

– Перестань, слышишь? – очень и очень резко сказала Веста. – Тебя вообще никуда нельзя повести, да? Тебе ничего не нравится. По-моему, так симпатичный фильм ужасов средней руки, а ты только и можешь, что говорить, будто его у тебя украли. У тебя что, мания величия?

– Говорю тебе, – с гневным терпением объяснял Эндерби, – что эта сволочь Утесли...

Мягко загорелся свет, сплошь тошнотно оранжевый, освещая аплодирующих с криками «браво» зрителей, точно в честь всего семейства

папы римского. Толстяк рядом с Эндерби, теперь сияюще бодрый, раскурил давно погасшую сигару, а после открыто посмеялся над стиснутыми кулаками Эндерби. Эндерби подготовил двенадцать непристойных английских слов как основу для перепалки (вариации и фигуры речи последуют), как (ударом по темечку) до него вдруг дошло, что с него довольно слов, непристойных или иных. Он улыбнулся Весте неистойой сахариновой улыбкой и сказал так, что она все его лицо обыскала на предмет сарказма:

– Не пора ли нам, дорогая?

### 3

Поздняя ночь в Англии, думал Эндерби, это время после закрытия пабов. В Риме не было пабов, которые можно закрыть, значит, и ночь была не поздняя. Они с Вестой остановили на виа Мармората запряженную лошадью коляску, иначе говоря *carrozza*, и эта коляска цокала вдоль Тибра, пока Эндерби скармливал жене седативные слова:

– Я правда постараюсь, честное слово. Моя зрелость, как ты, наверное, сама догадалась, наступила с большой задержкой. Я правда ужасно благодарен за все, что ты для меня сделала. Обещаю, что постараюсь повзрослеть, и я знаю, что в этом ты мне поможешь, как помогала во всем остальном. Сегодняшний фильм убедил меня, что мне по-настоящему нужно постараться жить среди людей.

Веста, прекрасная в ароматной ночи июньского Рима, с чуть колыхаемыми слабым ветерком волосами, наградила его настороженным взглядом, но промолчала.

– Я вот о чем говорю, – продолжал Эндерби, – нет смысла жить в сортире на крошечный доход. Ты была совершенно права, что настояла на трате всего моего капитала. Я должен зарабатывать и обеспечить себе место в мире. Я должен примириться с обществом и давать обществу – в пределах разумного – то, чего оно хочет. То есть сколько человек захочет прочесть «Ласковое чудовище»? Пару сотен в лучшем случае, тогда как этот фильм увидят миллионы. Я понимаю, я все понимаю.

Самому себе он напоминал главного героя рекламы панацеи от алкоголизма в «Альманахе старого Мура»: лекарство ловко подмешивают в чай пьянице; немедленный результат – пьяница вздевает руку к небесам, жена, рыдая от облегчения, виснет у него на шее. Слишком много наигрыша.



– Надеюсь, ты серьезно говоришь, – все так же настороженно произнесла Веста. – Я не про фильм. Я про то, чтобы попытаться быть чуточку нормальнее. Ты ведь многое в жизни упустил, верно? – Она подала ему руку в знак прохладного примирения. – Да, понимаю, прозвучит, наверное, немного претенциозно, но я чувствую, что у меня есть долг перед тобой, не обычный долг жены по отношению к мужу, но долг высший. Мне доверена забота о великом поэте.

Честь по чести, лошади тут следовало бы заржать, сонм труб должен был бы взречь с Изола Тиберина.

– И ты была совершенно права, – сказал Эндерби, – что привезла меня в Рим. Это я тоже понимаю. Вечный город. – Он почти наслаждался происходящим. – Символ общественной жизни, символ духовного возрождения. Но когда же мы возвращаемся? – хитренько спросил он. – Мне так не терпится вернуться, чтобы мы могли по-настоящему начать нашу совместную жизнь. Я жажду, – сказал он, – жить с тобой в нашем собственном доме, только ты и я. Давай, – он аж подпрыгивал от мальчишеского нетерпения, – вернемся завтра. Нетрудно ведь будет получить пару мест на каком-нибудь самолете, правда? Ах, давай вернемся!

Она отняла руку, и Эндерби испытал укол страха – в чем-то сродни изжоге, – что она разгадала его игру, но она сказала:

– Ну нет, вернуться мы не можем. Не так скоро. Как минимум еще неделю надо быть здесь или около того. Понимаешь, я кое о чем договорилась. Это должен был быть сюрприз, но теперь лучше сказать сейчас. Я подумала, что неплохо было бы, если бы мы с тобой поженились в Риме, поженились по-настоящему. Я, конечно, не про мессу по случаю бракосочетания говорю, только простая церемония...

– Ах! – просиял Эндерби, глотая пилюлю за пилюлей гнева и тошноты. – Какая прекрасная мысль!

– И есть один очень хороший священник, кажется, его зовут отец Аньелло, и он завтра придет с тобой повидаться. Я познакомилась с ним вчера у княгини Виттории Коромбоны. – Имя она прочирикала с упоением, поскольку была влюблена в титулы.

Фальшивый Эндерби пыхтел от усилий, поглубже заталкивая Истинного Эндерби.

– А что священник делал в ателье?

– Глупыш, – улыбнулась Веста. – У княгини Виттории Коромбоны не ателье. Она пишет разные мелочи о кинофильмах для «Фем». Отец Аньелло большой интеллект. Он много времени провел в Соединенных Штатах и в совершенстве знает английский. Как ни странно, он читал одно

твое стихотворение – кощунственное, про Деву Марию, – и ему не терпится провести с тобой пару славных долгих бесед. Потом, разумеется, он выслушает твою исповедь.

– Как приятно знать, что кто-то обо всем позаботился, – улыбнулся Эндерби. – Прямо гора с плеч. Знаешь, я правда очень благодарен.

Он сжал ей руку, когда они сворачивали на виа Национале: огни, огни, «Снэк-бар американо», «Банк Святого Духа», магазин за магазином, аэровокзал, освещенный и деловито бурлящий, гостиница. Толстая лошадь процокала ко входу и неуверенно остановилась, потом фыркнула – не обязательно на Эндерби. Возница клялся, что у него счетчик барахлит, механические изъяны трудно исправить, дескать, он слишком мало показывает. Эндерби не стал спорить. Он дал на пятьсот лир больше натакавшей суммы, сказав вознице:

– И тебя в зад.

Рим, как же он любит Рим!

Эндерби наблюдал, тщательно выбирая момент. За столиками в баре при гостинице сидели любители позднего кофе, многословно болтая на быстрых чужеземных наречиях, – десяток или дюжина в общем и целом, но Эндерби всех их променял бы на Утесли. Он жалел, что нельзя вернуть всего на пять минут вчерашнее утро, когда он с Данте и Утесли были в баре одни – потребовался бы всего лишь один хороший удар правой в преждевременно окровавленный нос. Вот уж кто «двусущный зверь», двуличная скотина. Муза теперь будет очень недовольна, разозлится, как сущая гарпия, что столько работы потрачено впустую. Эндерби наблюдал за Вестой, такой милой над бокалом перно, выжидал, пока не кончится третий бокал фраскати, потом заерзал от симулированной боли в животе.

– У – ухх, – выдавил Эндерби, – будь оно все... Бэ-э-рргх.

– Ты слишком много пил, – сказала Веста, – вот в чем твоя беда. Пойдем, ляжем спать.

Эндерби, художник до мозга костей, изобразил душераздирающее урчание в животе, совсем как в старые добрые времена. Грерррхрапшшшшш. Веста встревоженно встала.

– Нет, – сказал Эндерби, – ты жди здесь. На первом этаже есть уборная. Пустяки, правда.

Он улыбнулся сквозь муки – истинный лжец, – махая ей, мол, пусть садится. По-гаргульи надув щеки, он энергично закивал, мол, все действительно так, как кажется, красиво пукнул, урча и ахая к удивлению любителей кофе. Неискренне сверкнувшему золотыми зубами щеголеватому портье, обрамленному трубками света за стойкой, Эндерби с

нажимом сказал:

– Мне нужно вернуться в Лондон. Всего на пару дней. Дела. Моя жена останется здесь. Только не подумайте, – виновато добавил он, – будто я хочу сбежать. Если нужно, я оплачу по сей день мой счет. Но я оставляю багаж. Все, кроме маленького чемоданчика. Полагаю, это не страшно, да?

Он почти приготовился дать портье тысячу лир за молчание, но успел передумать. Портье с изящным наклоном головы человека, наклоняющегося послушать тиканье часов в жилетном кармане невидимого собеседника, ответил, что все в полном порядке, но синьор Эндерби должен понять – он не получит возмещения за то время, что синьор Эндерби будет отсутствовать. Синьор Эндерби охотно понял.

– Хочу позвонить на аэровокзал, тот, что на этой улице. Можете дать мне номер?

Портье был только рад набрать нужный номер. Звонок можно принять в любой кабинке вон там.

Из кабинки Эндерби как раз было видно, как Веста поедает сэндвичи с ветчиной. Скорее всего, с ветчиной, учитывая, что каждый ломтик она намазывала – судя по форме банки – горчицей. Эндерби постарался, что было несложно, принять очень больной вид, на случай если она поднимет взгляд и его увидит. Если она подойдет, ему придется сделать вид, что он слепо метнулся сюда, потому что внешне кабинка выглядела как уборная; если она увидит, как он торопливо говорит в трубку, ему придется сделать вид, будто он звонит врачу. Тут раздался голос, который заговорил с Эндерби по-английски, и Эндерби сказал украдкой:

– Эндерби на проводе.

Имя, по вполне понятным причинам, ничего для учтивого чиновничьего голоса не значило.

– Я хочу улететь в Лондон ближайшим же рейсом, – сказал Эндерби. – Это очень срочно. У меня уже есть билет первого класса, но он заказан, понимаете, на двадцать пятое или двадцать шестое, не помню точную дату. Это очень, очень срочно. Дела. И моя мать при смерти.

Соболезнующих вздохов не последовало, ну и жестокосердные сволочи эти римляне! Под шелест грессбухов голос произнес, что, как ему кажется, будут свободные места на самолете «Бритиш эйрвэйз» из Кейптауна, который прибывает в Рим в половине шестого утра. Голос перезвонит, чтобы проверить и подтвердить заказ.

– Вопрос жизни и смерти, – сказал Эндерби.

Однако голос как будто знал, что Эндерби собирается сбежать от жены.

Веста прикончила свои сэндвичи и ковыряла в зубах старым билетом лондонской подземки, который достала из сумочки. Сумочка была открыта очень неаккуратно; в ней Эндерби углядел связку ключей. Эти ключи ему потребуются: в квартире на Глостер-роуд остались кое-какие нужные ему вещи. Увидев ковырянье в зубах, Эндерби кивнул: еще одно подтверждение тому, что он на верном пути.

– Как ты себя чувствуешь? – спросила она.

– Гораздо лучше, – улыбнулся Эндерби. – И многое стало на свои места.

Учитывая, сколько денег оставалось в банке, учитывая, сколько удастся законно у нее умыкнуть (главным образом норку), ему удастся на год или два вернуться к подобию прежней жизни: одинокий поэт на жалком чердаке, который перебивается на жидком рагу с хлебом и старается помириться со своей Музой. Он не роптал на утрату капитала. Больше не роптал. В конце концов, это были деньги мачехи, и вот пожалуйста, здесь, вытаскивая теперь волоконец ветчины из задних зубов, пусть с изяществом и не напоказ, сидит его мачеха, вполне способная воспользоваться этими деньгами. Процент, разумеется, иное дело. Церковь всегда осуждала одалживание денег под проценты, поэтому ни один добрый католик не имеет права требовать по возвращении займа прибавки, которую этот заем заработал. Эндерби, хотя и твердо решил быть справедливым, так же твердо решил, что тут будет придерживаться строгого протестантизма. И пока он улыбался этой мысли, его внезапно огорошило, что из громкоговорителя раздается его имя.

– Кто, скажи на милость, может тебе звонить в такое время? – спросила Веста. – Сиди тут, я возьму. У тебя все еще вид бледный.

Она встала.

– Нет-нет-нет, – запротестовал Эндерби, грубо толкая ее назад в плетеное кресло. – Это сюрприз. – Он выдавил улыбку.

Она скорчила гримаску и, достав из сумочки заколку для волос, начала ковырять в левом ухе. Эндерби даже обрадовался, что увидел это.

Чиновничий голос был рад подтвердить заказ места на рейс из Кейптауна. Эндерби должен явиться на аэровокзал в четыре утра; дежурный сотрудник переоформит ему билет.

– Deo gratias!<sup>[57]</sup> – выдохнул Эндерби, подразумевая grazie.

Но только такая литургическая благодарность, подумалось ему, способна отразить его облегчение при мысли, что он избавится – во всех мыслимых смыслах – от Рима.

– Все улажено, – ухмыльнулся он Весте. – Не спрашивай, что именно,

но все улажено.

Когда они встали, чтобы подняться к себе в номер, он увидел на столе заколку для волос: ее загогулина забила ушной серой. За руку Весту он взял почти с любовью.

## 4

Не спать до половины четвертого было не так уж трудно. Трудно было собирать, упаковывать вещи среди ночи, когда Веста, по-шотландски крепко спящая, решила вдруг ворочаться и говорить во сне. Эндерби настороженно наблюдал за ней, пока она лежала раскинувшись, сбросив с кровати простыни, а римский лунный свет серебрил ее ягодички до подобия меренги. Да, усладительно, но отныне пусть наслаждается кто-нибудь другой. Эндерби на цыпочках и в носках ходил по серебряной комнате, застывая, как в игре «морская фигура замри», всякий раз, когда она бормотала во сне, перекачивалась к самому подоконнику, точно хотела броситься с него, или переворачивалась на живот. Лежа навзничь, она произносила странные слова в потолок, потом хмыкала. Вынимая свой паспорт и билет из верхнего ящика комода, он после нескольких секунд этических дебатов решил взять заодно и ее документы. Тогда если она догадается о дезертирстве Эндерби, то не сможет сразу за ним погнаться. Но он положил на стол несколько тысяч или миллионов лир; к тому же он знал, что у нее есть собственные дорожные чеки. Хотя она и Рим прекрасно подходили друг другу, он не мог (порядочный ведь человек!) обречь ее на долгое и вынужденное пребывание в Вечном городе: он надеялся, что в нем еще осталось достаточно человечности, чтобы не желать такого даже злейшему врагу.

Для одежды и бритвенных принадлежностей Эндерби хватило одного чемодана. Лосьоны, кремы и спреи, которые она заставила его купить, он решил с собой не брать: никто и никогда больше не захочет его нюхать. Теперь встал вопрос ключа от квартиры, где он оставил несколько коробок, набитых черновиками и заметками. Черновой машинописный вариант «Ласкового чудовища» сейчас заперт в ящике ее секретера, пусть там и остается. «Чудовище» было интересно, мрачно подумал он, не формой, а содержанием, а содержание украли и исказили. Пусть это станет ему уроком. Щурясь в лунном свете, Эндерби искал сумочку Весты, плоский серебряный клатч, в который она пересыпала весь груз мусора из черной сумочки, из серой сумочки, из белой сумочки, из синей сумочки, –

женщина с пережитками шотландской бережливости, для которой невыносима сама мысль выбросить что-то. Серебряная сумочка, еще более посеребренная луной, лежала на тумбочке с ее стороны кровати. Эндерби прокрался к ней, как неуклюжая балерина на пуантах, и только собрался ее взять, как Веста стремительно перевернулась на живот, бросившись наискосок через всю кровать, и голая худая рука хлопнулась на стол, удерживая сумочку серебристым засовом. Эндерби помешкал, затаив дыхание, задаваясь вопросом, рискнуть ли. Но потом она так же стремительно перевернулась на спину, на столик и сумочку приземлилась другая рука, а сама Веста заговорила из глубин сна:

– Пит. Сделай так еще, Пит. Ух, Пит, это было чертовски чудесно.

Произношение было грубым, неотесанным, навело на мысли не о респектабельном Эскбэнке, а о трущобах Горбала, и под стать им Веста начала отпускать вульгарные междометия, предполагающие крайнее упоение страсти. Эндерби слушал с ужасом, но успокоил нервы мыслью, что спящему позволено все, даже некрофилия. Не стоит и пытаться извлечь сумочку из-под серебристой руки, возможно, удастся попасть в квартиру и без ключа. Так сказать, совершить проникновение со взломом. Сейчас он желал совершить обратное действие, и побыстрей.

Пока он нащаривал под висевшей на крючке норковой шубой ручку двери, у него возникло впечатление, что жена вот-вот всплывет из недр сна, что в одном из длинных коридоров коры головного мозга сработала сигнализация. Он попробовал успокоить ее словами и подходящими звуками:

– Барркх. Просто иду в уборную.

Таковы были его последние слова к ней, пока он осторожно перекидывал через руку норку. Жена крикнула, почмокала губами и, как будто удовлетворившись, начала погружаться еще глубже в сон. Эндерби открыл дверь и вышел. Постояв мгновение, чтобы успокоить громко бьющееся сердце, он испытал осторожный восторг, что скоро, в самолете, он сможет предаться полному и ничем не сдерживаемому ликованию.

Пока он взвешивал багаж, платил посадочный сбор и покупал билет на автобус, в нем затрепыхалось нарождающееся стихотворение:

Мачеха Запада...

Эндерби с восхищением ждал, когда сфокусируются образы: сплавленные воедино император и папа римский, никакого красного мяса к

столу из-за переизбытка его на лязгающей арене, старая сука-волчица с отвисшими сосками, большой задний двор сломанных колонн для сборщика отходов; Эндерби нетерпеливо ждал, когда выстроятся рифмы. Волчица, блудница, птица. Дальше ничего... Пустота.

Мачеха Запада, город великий, блудница,  
Самая грязная... что-то там... из волчиц,  
Ромул и Рем из грудей твоих жаждут... напиться? Упиться?  
Что-то там, что-то там... среди чудовищных... лиц? Или птиц?

В автобусе до Чампино Эндерби, хмурясь, взывал к своей Музе, умоляя сделать что-то с этим клочковатым *donnee*<sup>[58]</sup>. В самолете посаженный рядом с чернокожим пастором Эндерби бормотал и гримасничал так, что стюардессе пришлось спросить, все ли у него в порядке: подозрительный тип, хмурится и бормочет, на багажной полке над ним норковая шуба... Эндерби смотрел вниз на Рим. Веста уже совершенно вылетела у него из головы. Он рассчитывал, что сможет шепотом произнести хотя бы строфу новорожденного прощального стиха. Но запнувшись, с дурным предчувствием вспомнив пророчество предателя Утесли, он сумел выдать только одно прощанье, которое шло дальше слов, но которое негритянский пастор, по всей очевидности, принял за неприязненное замечание по поводу своего цвета кожи.

– Фэ-ээфрр-ээррррррпшшшшш.

## Часть третья



## Глава первая

### 1

– Тут вам абсолютно не о чем беспокоиться, – сказал доктор Престон-Хоукс. – Все результаты отрицательные: ни туберкулеза, ни раковых новообразований, ничего. – Он поднял повыше пару мутных портретов Эндерби изнутри. – Вот, собственно говоря, и все. – У него был отчетливый выговор северянина, хотя кое-какие гласные звучали как сапомальное уподобление нормативному английскому. – Можете идти со спокойным сердцем. – Он был молод, с превосходными зубами, загорел и взъерошен, точно для рекламы (в качестве побочного приработка) оздоровительных свойств курорта, где практиковал. – Если при диспепсии помогает сода, просто принимайте ее и дальше. Но в целом ваши желудок и кишечник в полном порядке.

– Вы бы сказали, конечно, это крайне мало вероятно, что я умру в ближайшем будущем?

– Этого, милейший, никто из нас знать не может. Помимо обычных превратностей бытия, попасть под машину, скажем, получить удар током или поскользнуться в ванной, всегда есть какой-то неизвестный фактор, не поддающийся анализу. Нам известно многое, но не все, – доверительно сообщил он. – Однако, насколько я вижу, вы физически здоровы и, скорее всего, проживете многие годы. – Он засиял на Эндерби, как поджаривающийся ломтик картофеля со сковородки. – Разумеется, – продолжал он, – тонус у вас не ахти. Вам нужна физическая нагрузка: теннис, гольф, прогулки. Неплохо было бы чуточку вес сбросить. Воздержитесь от жареного, ешьте поменьше крахмала. У вас сидячая работа, да? Служащий или что-то в таком духе?

– Возможно, в более древнем смысле. Я поэт, – объяснил Эндерби.

– Вы хотите сказать, это ваша работа? – недоверчиво переспросил доктор Престон-Хоукс.

– Была. Из-за этого, собственно, я к вам пришел. Понимаете, я больше не пишу стихов.

– О! – Доктор Престон-Хоукс заволновался: стал выстукивать гаммы на столе, улыбка сделалась деланой и нервной. И заговорил он теперь, невнятно булькая, словно растеряв былую энергичность: – Ну, я едва ли... То есть это ведь не по моей части, так? То есть я бы думал... Иными

словами, если вы не собираетесь больше писать стихи, ну, удачи вам. Всех благ и так далее. Но это ведь целиком и полностью ваше личное дело, да? Так я, во всяком случае, считаю. – Он начал совершать – пусть и неумело – ритуал человека, чье время очень ценно: нервно копаться в бумагах, поглядывать на часы, рассеянно выкатив глаза, всматриваться куда-то поверх головы Эндерби, точно следующий пациент должен был вот-вот протиснуться между дверью и притолокой.

– Нет, вы не поняли, – возразил Эндерби. – Я хотел сказать, что больше не могу писать стихи. Я все пытаюсь и пытаюсь, и ничего не происходит, ничего не получается. Вы понимаете, о чем я?

– О да! – Врач настороженно улыбнулся. – Вполне понимаю. На вашем месте я не слишком бы беспокоился. В жизни ведь есть еще многое помимо поэзии, правда? Солнце светит, дети играют. – Это было буквально так: доктор Престон-Хоукс поднял руку, точно сотворяя теплый вечерний луч из окна и шум детской ссоры у спуска к пляжу. – Сочинение стихов – это ведь еще не вся жизнь, да? Вы непременно найдете чем заняться. Вся жизнь перед вами. Лучшее впереди.

– И в чем смысл жизни? – спросил Эндерби.

От такого вопроса врач повеселел. Он был достаточно молод, чтобы знать на него ответ или ответы, явно памятные со времен студенческих дискуссий под пыханье трубок.

– Смысл жизни в том, чтобы ее прожить, – без заминки ответил он. – Цель жизни – сама жизнь. Жизнь – это здесь и сейчас и то, что вы от нее получаете. Жизнь – это жить до последней капли и каждую минуту. Смысл – в процессе. Жизнь – то, что вы из нее делаете. Я знаю, о чем говорю, уж вы мне поверьте. В конце концов, я врач. – Он улыбнулся чему-то на стене – своему должным образом сертифицированному бакалавриату в рамочке, например.

Эндерби с энергичным унынием затряс головой.

– Сомневаюсь, что Китс дал бы такой ответ. Или Шелли. Или Байрон. Или Чаттертон. Человек – как дерево. Он приносит плоды. Когда он перестает приносить плоды, жизнь его срубает. Вот почему мне хотелось знать, умру ли я.

– Послушайте, – резко откликнулся врач, – все это нездоровая чушь. Долг каждого – жить. Вот для чего существует Государственная служба здравоохранения. Чтобы помогать людям жить. Вы здоровый человек, у которого многие годы впереди, и вы должны быть очень благодарны. В противном случае давайте взглянем правде в глаза, вы кощунствуете против жизни, и Бога, и, да, демократии, и Государственной службы

здравоохранения. Это ведь несправедливо, так?

– Но ради чего мне жить? – спросил Эндерби.

– Я уже сказал, ради чего вам жить, – еще резче ответил доктор. – Вы невнимательно слушали, да? Вы живете ради того, чтобы жить. И да, вы живете, разумеется, и ради других тоже. Вы живете ради жены и детей. – Он побаловал себя двухсекундной любящей ухмылкой фотографиям на столе: миссис Престон-Хоукс играет с Престон-Хоуксом-младшим, Престон-Хоукс-младший играет с мишкой.

– У меня была жена, – ответил Эндерби. – Очень недолго. Я бросил ее почти год назад. Это было в Риме. Мы не сошлись характерами. Я совершенно уверен, что у меня нет детей. Думаю, я могу сказать, что абсолютно в этом уверен.

– Ну, тогда ладно, – откликнулся врач. – Но ведь существует множество других людей, кому вы нужны. Друзья и все такое. Полагаю, – осторожно добавил он, – еще остались люди, которые любят поэзию.

– Многое уже написано, – ответил Эндерби. – Сколько-то у них уже есть. Больше не будет. И я не из тех, у кого бывают друзья, – добавил он. – Поэт должен быть один, одиночек.

От этой вынужденной банальности взгляд у него остекленел, он неловко встал со стула. Врач, насмотревшийся телепьес, возомнил, будто перед ним зачатки надвигающегося суицида. Он был неплохим врачом.

– Вы ведь не собираетесь совершить какую-нибудь глупость, да? – спросил он. – От такого ведь никому проку не будет. Особенно после того, как вы пришли ко мне на прием... Жизнь, – сказал он, уже не так уверенно, как раньше, – существует, чтобы ее прожить. У всех нас есть долг. Я на вас полицию натравлю, знаете ли. Даже мысли такой не допускайте. Послушайте, если хотите, я запишу вас к психиатру. – Он сделал такой жест, будто сейчас же потянется за телефоном, будто ради Эндерби готов немедленно зачерпнуть ото всех благ Государственной службы здравоохранения.

– Вам не о чем беспокоиться, – успокоил его Эндерби. – Я не наделаю глупостей, на мой взгляд. Это я вам обещаю.

– Вылезайте из своей скорлупы! – с отчаянием призывал врач. – Знакомьтесь с новыми людьми. Смотрите телевизор. Выпейте иногда в пабе, при умеренности выпивка не повредит. Ходите в кино. Сходите на тот фильм ужасов по соседству. Это позволит вам отвлечься.

– Я его в Риме видел, – возразил Эндерби. – Мировая премьера. Тут в Англии L'Animal Binato, иначе говоря «Двусущный зверь», превратился в «Сына твари из далекого космоса». Если уж на то пошло, я его написал. То

есть его у меня украли.

– Послушайте. – Тут доктор Престон-Хоукс встал. – Меня несколько не затруднит вас записать. Думаю, поговорив с доктором Гринслейдом, вы почувствуете себя гораздо лучше. Он очень хороший человек, знаете ли, очень хороший и очень благожелательный. Могу прямо сейчас позвонить в больницу. Никаких проблем... Он, скорее всего, прямо завтра утром вас и примет.

– Да не волнуйтесь вы так, – отозвался Эндерби. – Принимайте жизнь такой, какая она есть. Живите жизнь до последней кружки или как вы там выразились.

– Не нравится мне ваш настрой, – не унимался доктор Престон-Хоукс. – Нечестно будет по отношению к вам, если пойдете домой и покончите с собой сразу после приема у меня. У меня было бы спокойнее на душе, если бы вы повидали доктора Гринслея. Я мог бы позвонить прямо сейчас. Мог бы прямо сейчас получить для вас койку. Не уверен, стоит ли вас отпускать. Только не в нынешнем вашем состоянии. – Он так и стоял: растерянный, молодой, бормочущий... – Я хочу сказать, у всех нас есть долг перед ближними...

– Я в здравом уме, – утешил его Эндерби, – если это вас беспокоит. Еще раз обещаю вам не делать никаких глупостей. Если хотите, можете получить обещание в письменной форме. Я пришлю вам письмо. Напишу, как только вернусь домой.

Доктор Престон-Хоукс прикусил губу, затем втянул ее так, что стали видны зубы, точно проверял ее на прочность. На Эндерби он смотрел мрачно и неуверенно, ему явно не понравилось слово «письмо» в таком контексте.

– Все будет хорошо, – с широкой ободряющей улыбкой сказал Эндерби. Они поменялись ролями, и с бойкостью врача Эндерби добавил: – Вам не о чем беспокоиться.

И быстро ушел.

Он протолкался через приемную, полную людей, которые, судя по виду, тоже не могли писать стихи. Одни были в спортивных костюмах, точно готовые схватиться с доктором Престоном-Хоуксом у сеток, и свои недуги носили так же легко, как клубный значок на пиджаке. Другие, одетые более официально, видели в болезни своего рода религию. Эндерби пришлось всю дорогу щуриться. Он где-то посеял контактные линзы, а очки, которые раньше носил, наверное, еще лежали в квартире на Глостерроуд, если, конечно, Веста не выкинула их с остальными его вещами. Шагая в ярком приморском свете, он отыгнул слово «полиция». Если врач

намерен натравить на него полицию, надо действовать быстро. Здравый рассудок (по выражению внешнего мира) рисовался ему неуклюжим топотом тяжелых сапог. Ему вспомнился топот гонящихся за ним сапог, когда сразу по возвращении из Рима он попытался проникнуть в квартиру Весты через окно и был внезапно пригвожден лучом полицейского фонарика. Конечно, он мог бы остаться и все объяснить, но полиция со своей стороны вполне могла бы – с профессиональной подозрительностью – задержать его до приезда Весты. И брошенную в спешке норковую шубу тоже пришлось бы объяснять. А потому он заехал чемоданом в пах констеблю и между линией старта и финишем, обозначенными свистками, увертывался, пока (к собственному удивлению, поскольку считал, что подобное возможно только в кино) не сумел улизнуть в боковую улочку, а из нее в проход между домами, где выжидал, пока вдалеке, подобно затерянным тропическим птицам, продолжали пищать свистки.

Майское солнце пульсировало над морем, а дымка над тем же морем была сродни ослепительному, пронизанному серебром мармеладу... Это было не то море, под рев которого он трудился – тщетно – над «Ласковым чудовищем», а его северо-западный брат. Оно омывало более пестрый и более вульгарный курорт, чем прежнее пристанище Эндерби на Ла-Манше: в пабах было больше смака, гласные произносились открыто, на пляж можно было приносить термосы с чаем, увеселительный променад сотрясался от истерических призывов игровых автоматов, на эстраде под открытым небом выступал комик, который сказал своему партнеру, что, будь его мозги эластичными, их не хватило бы на подтяжки для канарейки. «У меня в жилах голубая кровь», – откликнулся подающий реплики. «А у меня что, по-твоему? – ответил вопросом комик. – Вино из одуванчиков?» Станный выбор места для смерти, как могут счесть грядущие поколения.

Невзирая на чудесный вечер, у кинотеатра, как подслеповато заметил Эндерби, выстроилась очередь из желающих посмотреть «Сына твари из далекого космоса». Через два дома от кинотеатра разверзлась прохладная пещера аптеки, полная запаха мыла, смеха отпускников в царстве лекарств, проявленных пляжных фотографий, обгорелых рук и шей. Эндерби пришлось подождать, пока какую-то отпускницу не снабдят заколками для волос, кремом, перекисью водорода и прочей всячиной для счастливой жизни, прежде чем он смог сам попросить «всячину» для смерти. Наконец девушка в белом халате склонила голову набок:

– Вам, сэр?

Он смутился так, словно покупал презервативы.

– Аспирина, пожалуйста.

– Какого размера, сэр?

Аспирин, похоже, продавался разных размеров.

– Самые маленькие, пожалуйста. Мне придется принять довольно много.

Она уже было открыла рот, поэтому он поспешно добавил:

– Конечно, не смертельную дозу. – Он подкупающе улыбнулся.

– Ха-ха, сэр. Хотелось бы надеяться. Вечер такой чудесный. Ну и хохмач.

Эндерби вышел с пузырьком на сто. На всем белом свете у него осталось ровно два пенса. «Отлично складывается», – подумал он.

## 2

«Чудной выдался год», – размышлял Эндерби, с потенциальной смертью в кармане сворачивая с теплого и веселого, пивного и сахарноватного променада на Боггарт-роуд. Это был чудной пустой год – или почти год.

Июнь стал месяцем свадьбы, медового месяца и дезертирства. Из своего лондонского банка Эндерби забрал девяносто портретов ключеносных львов. Купив мешочек для губки, он затолкал туда львов, обмотал шнурок вокруг брючной пуговицы, а сам мешочек засунул в штаны. Так мешочек ходил и сидел вместе с ним – большая утешительная мошонка. Банк каждого – у него за шириной: энергичная выдача круглые сутки, никакого процента (хотя, разумеется, и без превышения кредита), умеренные расходы без формальностей. Он добрался до этого северного курорта, о котором однажды одобрительно отозвался Арри (подальше от юга, Лондона и Весты). Он нашел непритязательную мансарду с газовой конфоркой (общие ванная и сортир) в пансионе миссис Бэмбер на Баттеруорт-авеню – «орлиное гнездо» над воскресными постояльцами.

В июле и августе он с грехом пополам собрал томик из пятидесяти лирических стихов: чистые копии и поздние черновики, по счастью, съездили с ним в чемодане в Рим и обратно, масса другого, чернового материала осталась (вероятно, уже выброшена) в квартире на Глостер-роуд, и, надо полагать, его уже не вернуть. Назывался сборник «Круговая павана». Отпечатанный маленькой серенькой женщиной в машинописном бюро в Манчестере, он был отправлен издателю и принят без большого энтузиазма. В кабинетах общественных уборных, где уединение покупалось за пенни, он планировал длинную автобиографическую поэму

белым стихом, своего рода «Прелюдию». Мешочек для губок в штанах еще не похудел, и он мог позволить себе ждать, когда одумается вялая или дующаяся Муза. Несколько автобиографических поэтических строк, какие удалось выжать, были уничтожены, переписаны, уничтожены, переписаны, уничтожены, переписаны, оставлены до утра, прочитаны, перечитаны, переписаны, уничтожены. На протяжении августа и сентября курорт звенел голосами бойких отдыхающих в комичных шляпах с лозунгами («Попробуй меня, я легок на вкус», «Давай, Джо, мамочка не узнает»), был липким от поцелуев, морской соли, эля, сахарной ваты, скал. Никаких вестей ни от Весты, ни от кого-либо другого. Однажды солнечным утром, сидя в общественной уборной, слушая весело клацающих ведерками и совками детей по пути на пляж, он упивался, как фраскати, возобновленным одиночеством. Однако жаль, что он ничего не может написать. Он забросил мысль о длинной автобиографической поэме. Как насчет эпической про короля Артура, или лорда Резерфорда, или про Олкока с Брауном?<sup>[59]</sup> Он долгие часы корпел в общественной библиотеке, делая вид, будто взаправду работает, закладывает основы, собирает материал. Он ничего не написал.

Октябрь и ноябрь принесли первое дуновение дурного предчувствия. Шутка заходила слишком далеко. Конечно, денег еще хватало, но ему нечем было занять время. Бесцельно бродить по пустынным, оглушенным прибоем улочкам, прятать уши в воротник пальто и пытаться выдавить стихотворение, возвращаться к безнадежности, к рагу, к настойчивым посягательствам миссис Бэмбер подняться к нему в мансарду, сидеть там, разговаривать про ее собственное прошлое, пряное от устричных баров и «Винокурней Йетсов»<sup>[60]</sup>.

Если (как он сам себе поклялся на Рождество) ему будет дарован хотя бы какой-то знак, что он сможет снова начать писать, то, когда деньги закончатся, он по доброй воле найдет себе то или иное тщетное занятие, станет поэтом на полставки, будет поддерживать в себе жизнь ради Музы...

Под конец января он проснулся однажды скованным морозом утром, в ушах пело стихотворение. Слава богу! Он записал гномическое телеграфное послание и целое утро убил на оттачивание его до окончательной формы:

Ты – словно те врата в городской пыли,  
Из коих вышли на бой далекий солдаты.  
Позволишь ли им вернуться? Украсишь ли  
Арки и камни убором цветов богатым?

Но горько, – увяли цветы, а солдаты,  
с задором бранным,  
Бьются в далекой дали, – в чуждых,  
неведомых странах...

Едва он перечитал получившееся, волосы у него буквально стали дыбом: это было приватное послание, послание от Музы ему самому.

Но однажды утром, совсем невзначай,  
Попивая из чашки утренний чай,  
Возможно, внезапно увидишь ты,  
Что небеса уже не пусты,  
Что поют в них святые, в них радость и свет...  
Я сказала «увидишь»? Наверное, нет.

Он почувствовал, как покрывается липким потом, как диафрагма у него разжижается. Прощальное стихотворение...

В марте вышла «Круговая павана». Последовали рецензии: «... приятный и ясный прозрачный стих в традиции...»; «... мистер Эндерби не утратил былого мастерства, жаль, однако, что мы не видим признаков мастерства нового, признаков нового направления. Это умело сплавленная смесь, но очень даже старая смесь...»; «... со вздохом вспоминаешь былое лирическое совершенство. Облегчением будет обратиться к работе двух молодых оксфордских поэтов...» И одна – явно из-под пера Утесли: «Мистер Эндерби, без сомнения, достаточно реалистичен, чтобы не сожалеть о кончине своего поэтического дара. Такой дар не длится вечно, а у мистера Эндерби он протянул дольше, чем у многих. Ведь многие его современники уже избрали исполненное достоинства безмолвие достопамятных успехов, и можно предсказать, что мистер Эндерби, после этого не вполне ожидаемо разочаровывающего сборника, присоединится к их молчанию...» В «Фем», разумеется, никакой рецензии не появилось.

На протяжении апреля Эндерби уныло размышлял над болью в груди. В мае, три дня назад, он решил пойти к врачу. После пальпации и аускультации врач решил, что с ним все в порядке, но для верности послал Эндерби в больницу на рентген. Но еще до того, со звучащим в ушах «все в порядке», Эндерби сел у себя в мансарде набросать список возможных способов умереть:



Перерезать вены в горячей ванне,  
Передознуться снотворным,  
Повеситься в гостиной, на картинном крюке,  
Прыгнуть в море с пирса.

Стояло начало лета, и в доме миссис Бэмбер было довольно много ранних отдыхающих, по большей части (насколько мог судить по шуму Эндерби) это были упряжки галопирующих детей, за которыми неумело следили молодые родители, кричащие «тпрр-уу», но так никем и не услышанные. Неправильно будет, думал Эндерби, превращать самоубийство в дело публичное. Неприятно, наверное, начинать воскресное отпускное утро с вида покачивающегося трупа у выставленных с вечера хлопьев или разводов красного в остывшей ванне. Равно не стоит расстраивать людей, прыгнув с причала в конце Центрального пирса, к тому же всегда найдется какой-нибудь заскучавший в отпуске пловец, который чересчур уж быстро бросится его спасать. Лучше всего передозировка: тихо и чисто, тихо и чисто, чем-то там и чем-то там и сонно чем-то там. Кингсли, шутник-христианин.

Не-христианин и нехристь-стоик Эндерби вскарабкался по цветам ступеням дома номер 17 по Баттеруорт-авеню. Входная дверь была не заперта, на полке для шляп – лопатки и ведерки, во всем темном морсководорослевом коридоре – запах ног и песка. Никого из постояльцев не было, возможно, ушли посмотреть «Сына твари из далекого космоса», но у себя на кухне пела миссис Бэмбер, веселая вдова водителя трамвая, и ее песня отдавала устрицами и молодым портвейном. Пока Эндерби поднимался по лестнице, его вдруг заворожила строчка из (как он подумал) «Улисса» и показалась ему, несущему смертельную дозу в кармане, самой берущей за душу строкой (хотя это была не поэтическая строка, а, насколько ему помнилось, обрывок внутреннего монолога Блума), более всего чреватой сожалениями, какую он когда-либо слышал:

«... и больше не лежать в ее теплой постели».

Он затряс головой, когда вокруг строки начали тесниться образы – образы, которые он больше не в силах перевести в слова и рифмы: кони, подающий сигнал к забегу судья, шатер с шампанским, солнце на загровке, омлет из сотни яиц и бутылки бренди «Наполеон», жизнь.

«... и больше не лежать в ее теплой постели».

Эндерби поднимался все выше, поднялся на самый верх, где от солнца его отделяла только крыша. Подобно морю, его башенка нагревалась к лету. Войдя, он сел на кровать, отдуваясь после подъема. Потом живущий собственной жизнью желудок решил, что надо поесть, поэтому Эндерби поставил на газовую конфорку остатки незатейливого рагу. Пока оно булькало, он вертел в руках внушительный пузырек аспирина: где-то он слышал или читал, что сотни таблеток должно хватить. Он не сомневался, что миссис Бэмбер легко управится с неожиданным трупом: она же ланкаширка, а ланкаширцы со смертью на ты. И вообще, это будет чистый труп, лежащий под простыней, уронив от изумления собственной смерти челюсть. (Он напомнил себе, что необходимо по возможности опорожнить тело, прежде чем превратить его в труп.) Отдыхающих это не потревожит: старший констебль и секретарь городского совета постараются избежать шумихи, все будет сделано тихо, ночью, а после, к утру, в тарелки с шорохом переложат хлопья. Эндерби даже с аппетитом сел за свой последний ужин, жидкое, но вкусное причастие перед смертью. Он испытывал возбуждение, точно после ужина собирался смотреть фильм, про который все говорили и который нахваливали критики.

### 3

После ужина Эндерби надел пижаму. Майский вечер был светлым, и у него возникло мимолетное ощущение, что он снова маленький, что его отправили спать, тогда как жизнь снаружи еще бьет ключом. Он помыл ноги и отдраил вставные челюсти, вычистил немногочисленные кастрюли и сковородки, съел кусок лежалого шоколада и перелил воду из кувшина в чистую молочную бутылку (у него нет стакана, а ему понадобится много воды, чтобы запить аспирин). Теперь, когда ватная пробка уже была удалена и таблетки тактично постукивали, пузырек аспирина начал драматично преображаться, втягивая вечерний свет со всех углов, приобретая облик почти грааля, так что державшая его рука задрожала. Эндерби понес его к кровати, и всю дорогу пузырек издавал крохотный, сухой перестук кастаньет. Встав на кровать, Эндерби выглянул на задний дворик миссис Бэмбер. Он осмотрел его жадно, выискивая символы жизни, но увидел только мусорный бак, картонную коробку с золой, одуванчики, выросшие в щелях между плитами, и старый велосипед, выброшенный

сыном миссис Бэмбер Томом. Дальше тянулись трехэтажные дома, где на подоконниках сохли купальники, а еще дальше – море, и надо всем этим бледно-желтое, как примула, небо.

– Сейчас, – сказал Эндерби вслух.

Одна дрожащая рука высыпала в другую дрожащую руку горсть аспирина. Он бросил белые зерна себе в рот, как монетки по пенни в пасть черномазого уродца-копилки. Все еще дрожа, выпил воды из молочной бутылки. Осина... аспирин... осиноый аспирин и кол осиноый... Нет ли тут какой взаимосвязи?

Ветвь указующей осины...

Он прикончил пузырек за шесть или семь горстей, которые тщательно запивал. Потом со вздохом откинулся на спину. Оставалось только ждать. Он совершил самоубийство. Он убил себя. Из всех грехов самоубийство самый омерзительный, поскольку самый трусливый. Какая кара ждет самоубийцу? Будь тут Утесли, он, несомненно, процитировал бы из дантова «Ада», и притом пространно, с чувством собственного права: как-никак он внес свой вклад в итальянское искусство. Эндерби смутно припомнил, что самоубийцам отведен второй пояс седьмого круга ада, между теми, кто чинил насилие своим ближним, и теми, кто учинил насилие против Бога, искусства и природы. По праву в том кругу место самому Утесли, возможно, он уже там. Все это, думал Эндерби, Грехи Льва. Закрыв глаза, он совершенно ясно увидел кровоточащие деревья, воплощавшие самоубийц, а вокруг них кружили гарпии, гремя сухими крыльями – звук походил па клацанье таблеток аспирина в пузырьке. Он нахмурился. И где же тут уединение? Какое-то слишком уж публичное место. Он же выбрал второй пояс, чтобы избежать третьего, а обоим грехам разом отведен почему-то один круг...

С бесконечными деликатностью и тщанием предвечерний свет пронизывал мироздание все более и более темных тонов серого. Часы на запястье у Эндерби бодро тикали – чересчур вышколенный слуга, который возвестит о смерти так же невозмутимо, как о наступлении дня и подаче завтрака. На Эндерби навалилась огромная усталость, в ушах у него гудело.

Фанфары громких ветров, космический рев спускаемой в сортирах воды. Тьма перед его глазами срезалась кружок за кружком, как черный хлеб до самой корки буханки. А эта корка начала вращаться. И становилась все ярче с каждым оборотом, пока не сделалась ослепительней солнца.

Эндерби обнаружил, что у него нет сил укрыться за простыней, руками или веками. Круг потрескивал от невыносимого свечения, а потом Эндерби потащили под бодрые, но почему-то архангельские крики пред чьи-то божественные очи. И эта божественная сущность, благожелательно явившая себя поначалу константой чистого разума, внезапно обрушилась на все органы чувств Эндерби, и он отшатнулся.

Это была она. Она приветствовала его громовым пердением в десять тысяч землетрясений, рыганием в миллионе вулканов, и вся вселенная ревела от одобрительного смеха. Она качнула на него титьками как обвисшие луны, раздвинула бесконечную змею рта, как слезает с куска сала кожа, показывая черные зубы, забросала его шариками ушной серы и высморкала в него зеленой слизью из носа. Престолы и троны ревели, а херувимы были бессильны. Эндерби задыхался от вони: сероводород, немытые подмышки, вонь изо рта, фекалии, застоявшаяся моча, гниющая плоть – все они хлюпающими шарами набивались ему в ноздри и в рот.

– Помогите... – попытался позвать он. – Помогите... помогите... помогите!

Он упал, царапая и плача.

– Помогите, помогите!

Чернота – сплошной смех и грязь – сомкнулась над ним. Издав последний вопль, он ей поддался.

## Глава вторая

### 1

– Больше мы ведь пытаться не будем, верно? – говорил доктор Гринслейд, психиатр. – Ведь теперь мы понимаем, что это только причиняет уйму хлопот другим людям. – Он просиял – моложавый толстяк в не слишком чистом белом халате, с нездоровой кожей сладкоежки. – Например, у нашей бедной старой домохозяйки от этого с сердцем лучше не стало, верно ведь? Ей пришлось бегать вверх по лестницам, потом вниз по лестницам... – Он проиллюстрировал, пробегая пальцами по воздуху, как по ступенькам, вверх-вниз. – ...И она была в крайнем волнении, когда наконец прибыла «Скорая». Нам надо думать о других, правда? Мир ведь не создан для нас одних и никого больше.

Эндерби ежился от этой няничкиной подмены вежливого обращения множественной формой единственного числа.

– Каждый причиняет хлопоты, когда умирает, – пробормотал он. – Этого не избежать.

– Но вы-то не умерли, – подхватил доктор Гринслейд. – Когда люди умирают заведенным порядком, они причиняют хлопоты заведенные и неспешные, которые никому не во вред. Но вас-то едва-едва поймали в последний момент. А это означало суету и хлопоты для всех, особенно для вашей бедной старой домохозяйки. А кроме того, – подавшись вперед, он понизил голос, – в вашем-то случае это была не честная смерть, а? Это была... – он прошептал грязные слова, – попытка самоубийства.

Эндерби понурился, поскольку такой была ожидаемая клишированная реакция.

– Мне очень жаль, – сказал он, – что я так напортачил. Не знаю, что на меня нашло. Нет, кое-что, конечно, знаю, но будь я храбрее, постарайся перетерпеть, я, наверное, смог бы уйти на ту сторону, если понимаете, о чем я. Я про видение ада говорю, явившееся, чтобы меня попугать. Страшили и все такое. Это было нереально.

Доктор Гринслейд тактично потер руки.

– Вижу, – сказал он, – впереди нас ждет много веселья. Хотя, к несчастью, не для меня. Тем не менее я буду получать отчеты Уопеншо. Там чудесное местечко, – мечтательно продолжал он, – особенно в это время года. Вам понравится.

Слова доктора Гринслейда прозвучали как из уст какого-нибудь диккенсовского персонажа, говорившего про могилу любимого ребенка-идиота.

– Где? – подозрительно спросил Эндерби. – Что? Я думал, меня выписывают.

– О боже ты мой, нет! – откликнулся шокированный доктор Гринслейд. – Здоровые люди не пытаются совершить самоубийство, знаете ли. Во всяком случае, хладнокровно и преднамеренно. А вы, знаете ли, его планировали. Престон-Хоукс сказал мне, что планировали. Это был не просто безумный импульс.

– Нет, не безумный, – мужественно сознался Эндерби, – а совершенно рациональный. Я отдавал себе отчет, что делаю, и привел вам совершенно логичные причины почему. – Он брюзгливо рыгнул: – Греее-кх. Ваша больничная кормежка просто страх.

– В Флитчли прекрасно кормят, – продолжал мечтать доктор Гринслейд. – Все там прекрасно. Чудесный сад для прогулок. Настольный теннис. Телевизор. Библиотека успокаивающих книг. Приятное общество. Вам будет жаль уходить.

– Послушайте, – спокойно сказал Эндерби. – Я не поеду, понимаете? У вас нет права держать меня тут или куда-либо посылать. Я в полнейшем порядке, понимаете? Я требую дать мне свободу!

– А теперь-ка, – сказал доктор Гринслейд сурово, меняя тон с нянчицкого на учительский, – давайте проясним пару вещей, идет? В этой стране есть определенные законы касательно душевных заболеваний, законы о принудительном лечении, освидетельствовании и так далее. В вашем случае эти законы уже приведены в действие. Мы не можем позволить, чтобы люди слонялись по всей стране, пытаясь покончить с собой.

Эндерби закрыл глаза и увидел, как Англия кишит – как кишит мокрицами старый ствол – скитающимися самоубийцами.

– Вы представляете опасность для себя самого, – сказал доктор Гринслейд, – и для общества. Человек, не уважающий собственную жизнь, и к чужой отнесется без уважения. Это только логично, так?

– Нет, – тут же ответил Эндерби.

– Ах да, конечно, – саркастически откликнулся доктор Гринслейд, – вы же у нас большой эксперт по части логики.

– Я ни на что не претендую, – громко сказал Эндерби, – только на то, что я поэт, которого покинуло вдохновение. Я – пустая яичная скорлупа.

– Вы образованный, культурный человек, – строго ответил доктор

Гринслейд, – который может принести немалую пользу обществу. То есть когда вам помогут поправиться. Надо же такое выдумать, пустая яичная скорлупа! Поэты! – Он почти фыркнул. – Дни наивного романтизма прошли. Мы живем в реалистичную эпоху. Наука идет семимильными шагами. Что до поэтов, – добавил он со внезапной захлебывающейся доверительностью, – я был знаком с одним поэтом. Приятный такой, приличный малый без большого самомнения. И стихи писал тоже приятные, которые нетрудно было понимать. – Он посмотрел на Эндерби так, точно его поэзия была и неприятной, и невразумительной разом. – У этого человека не было ваших привилегий, – продолжал доктор Гринслейд. – Никакого личного состояния, никакой уютной квартирки на приморском курорте. У него были жена и семья, и он не стыдился работать, чтобы их прокормить. Свои стихи он писал по выходным, да, да. – Он покивал Эндерби, поэту в рабочие дни. – И в нем не было ничего ненормального, ровным счетом ничего. Он не ходил с омаром на веревочке, и не женился на собственной сестре, и не запивал кларетом перец. Он был приличным семейным человеком, которого вообще никто не принял бы за поэта.

Эндерби ужасающе застонал.

– И его стихотворение, – добавил доктор Гринслейд, – было во всех антологиях.

– Если он был таким нормальным, то почему у вас очутился? – спросил Эндерби, подавив желание завывать.

– Это было чисто светское знакомство, – победно улыбнулся доктор Гринслейд. – А теперь, – сказал он, глянув на часы над головой Эндерби, – вам лучше возвращаться к себе в палату.

Эндерби встал. Он был в больничной пижаме, халате, шлепанцах и чувствовал себя серым, съезжившимся, нищим. Он прошаркал из комнаты электрокардиограммы в коридор, помедлил у лестницы с табличкой «ВЫХОД», вспомнил, что его одежда где-то заперта, и, смирившись, побрел в отделение. В реанимации ему промыли желудок, а потом перевели в палату отсыпаться, и он пролежал два дня, умирая с голоду на узкой койке со стальными брусками по бокам, а теперь ему позволили угрюмо бродить по отделению в больничном халате. Если другой пациент спрашивал: «Чем болеешь, приятель?», он по указанию палатной сестры отвечал: «Отравление ацетилсалициловой кислотой». Но эти грубые люди с впечатляющими, видимыми глазу болезнями, сами все понимали. Этот пытался с собой покончить. Когда Эндерби, не вынимая рук из карманов халата, накренился к своей койке (слева – стригущий лишай, справа –

сломанная бедренная кость), к нему подскакал на костылях работяга-карлик.

– Эй! – окликнул карлик.

– Вы мне? – переспросил Эндерби.

Прочистив nasopharynx<sup>[61]</sup> посредством oesophagus<sup>[62]</sup>, карлик заговорщицки спросил:

– Мозгоправ за тебя взялся, да? Я видел, как он входил. Совсем тебя заездил, а?

– Именно, – согласился Эндерби.

– Как по мне, так закон против такого надо ввести. Надо же, секреты из-под сознания вытаскивать. Неприлично, как по мне. И за меня как-то брался. Знаешь почему?

– Нет.

Карлик подскакал поближе, глаза у него горели.

– Супружница детей в кино повела, понимаешь. Делать особо нечего было, и по телику ничего, так я помыл после ужина и кухню прибрал. И газету прочел, понимаешь, там тоже ничего особенного, сплошь убийства и всякие там встречи в верхах. И вообще, знаешь, что у меня в кармане комбинезона было?

– Нет, – ответил Эндерби.

– Большущая такая шайба. Не знаю, как она туда попала, но как-то попала. Шайба, понимаешь? Вот такая большая, – не унимался он, для вящей понятности сложив колечком большой и указательный пальцы. – Не для игры в хоккей, а такая, какую на болт надевают. – Указательным пальцем другой руки он изобразил, как именно это делается. – Сечешь?

– Да, – сказал Эндерби.

– Так вот. Стал я на нее смотреть, да про нее думать, и тут родилась у меня мыслишка. Знаешь какая?

– Нет, – сказал Эндерби.

Неуклюжий на своих костылях карлик подобрался совсем близко, казалось, он вот-вот откусит Эндерби ухо.

– Болт туда сунуть, – поведал он. – Жены нет, понимаешь, и заняться больше нечем. Ты не поверишь, села как влитая! Ну так вот, она подошла, и знаешь, что случилось потом?

– Нет, – сказал Эндерби.

– Слезать не захотела! – В глазах карлика застыл пережитой ужас. – Застряла, и ни в какую. Кошка, наверное, решила, что я дурак дураком выгляжу, когда заявила через окно. Ты понимаешь, на дворе ночь, и окно было открыто. Ну так вот, дружочек мой застрял в шайбе, а она не слезает.



Чего я только не испробовал! И под холодную воду его совал, и ножовкой пытался, ничто не помогает. Тут возвращается супружница, видит, что я наделал, и посылает детей сразу наверх. Уже то скверно, что кошка видела, но совсем не хорошо, чтобы детишки знали, что происходит. И знаешь, что она сделала?

– Нет, – сказал Эндерби.

– Вызвала «Скорую», а санитары привезли меня в больницу. Только не в эту. Мы тогда в городе жили. Так вот, сколько они ни старались, все впустую. То и это перепробовали. И знаешь, что сделали под конец?

– Нет, – сказал Эндерби.

– Послали за пожарной командой. Зуб даю, так они и сделали. Честью бога моего клянусь, за пожарной командой послали, и знаешь, что пришлось делать пожарникам?

– Нет, – сказал Эндерби.

– У них такие специальные пилы есть, чтобы металл пилить, и они все время поливали шайбу из пожарного шланга. Знаешь зачем?

– Чтобы охладить, – сказал Эндерби.

– В точку попал. Мало кто правильный ответ дает, вот как ты сейчас. Чтобы охладить. И вообще, сняли ту штуку, и вот тогда мне велели пойти к мозгоправу, вот как тебя сейчас. Но толку-то пшик. – Он поглядел, уныло покачал головой.

– Так вы поэтому сюда вернулись? – спросил Эндерби.

– Вот еще! – презрительно фыркнул работяга-карлик. – На сей раз сломал ногу на работе. Вечно что-то случается, а?

С этого момента Эндерби решил, что ему, возможно, захочется – с некими неизбежными оговорками – продолжить жить. Проснулся он среди ночи, смеясь над какой-то шуткой из сна. Сестре пришлось дать ему успокоительное.

## 2

Флинтли, окутанный розовым снегом яблоневого цвета, кукующий кукушками и (соответственно) отдающийся эхом, зеленый, тихий такой тишиной, что ее лишь подчеркивало клацанье шаров настольного тенниса, Флинтли оказался именно таким, как его описывал доктор Гринслейд. Несколько недель спустя Эндерби сидел на шумной от птиц террасе, читая безобидный, полный ребяческого насилия роман («Китаеза со зловещей восточной улыбкой на непроницаемом желтом лице вырвал нож из спины

своего мертвого товарища и бросил его прямым в полковника Билла. Билл пригнулся и услышал, как страшное оружие вонзилось в дверь. Он пригнулся в самый последний момент. «А теперь, – сказал он с улыбкой на чисто выбритом лице, – думаю, с меня довольно на сегодня вашего предательства, мистер Китаец». Он надвинулся на китайца, который теперь залопотал на своем чужеземном мольбы о пощаде...»). Из дневной комнаты отдыха доносилась бодрая музыка накрываемых к раннему обеду столов. За низкой изгородью вдоль канавы склонился за работой садовник. Остальные пациенты гуляли по саду или, как сам Эндерби, сидели тихонько за седативной литературой. Временами Эндерби опускал книгу на колени, закрывал глаза и тихонько повторял себе под нос:

– Меня зовут Эндерби-Хрякк, меня зовут Эндерби-Хрякк.

Это входило в процесс его исцеления: осторожная, исподволь смена личности. Хрякк было девичьей фамилией его матери. Вскоре, когда бывшему поэту Эндерби вставят кляп, она останется единственной.

К обеду прозвонил колокол, и из комнаты отдыха забулькало радио. Вместе с другими пятью пациентами Эндерби-Хрякк сел за стол, пожав сперва руку мистеру Барнаби. Мистер Барнаби настаивал на рукопожатии в любой час дня и иногда ради этого мягко будил всех среди ночи. У него было милое морщинистое лицо, и, подобно тому Эндерби, который скоро исчезнет, он был немного поэтом. Он написал стихотворение о главвраче, которое начиналось:

Ты у меня без вопросов дождешься, зараза.  
Слышишь, паскудник? И нечего зыркать глазом.  
А жена тебя любит, как ту ворону на елке  
Или пустую консервную банку на полке, —  
Которая «Хайнц», из-под томатного супа, —  
Или как грязную шавку, что воет глупо.

За тем же столом сидел мистер Трилл, одним из симптомов его помешательства была способность называть имя победителя в любом заезде на всех крупных скачках за последние шестьдесят лет. Этот человек почтенной наружности клялся, что ненавидит скачки. Сейчас Эндерби-Хрякк автоматически с ним поздоровался:

– Тысяча гиней, тысяча девятьсот десятый.

Горестно подняв глаза от супа, мистер Трилл сказал:

– Уинкипоп, владелец Астор, тренер У. Во, наездник Линхэм. Ставка

пять к двум.

Был еще мистер Бичем, сертифицированный водопроводчик, который по распоряжению психиатра все свои дни проводил за написанием картин: черные змеи, красное убийство, его жена с тремя головами. Мистер Шэп, страховой агент в черных очках и с черной дырой вместо рта, не говорил ничего, не делал ничего, но временами выкрикивал одно слово «ПАСТА». И наконец, был еще мистер Киллик, который проповедовал – вполголоса – птицам. У него была внешность преуспевающего мясника.

Когда все шестеро съели суп, две бойкие, с ослепительной кожей медсестры подали второе: ломти мясного пирога с вареной картошкой. Из приборов полагались ложки и вилки, но никаких ножей. Пища пережевывалась приятно и мирно, вот только однажды одетый в халат мужчина за другим столом крикнул в потолок:

– Топи ее, Номер один!

Его быстро утихомирила третья сестра, неказистая ланкаширская деваха с отличным чувством юмора.

– Топи скорей запеканку, дружок. По курсу паточный пудинг.

Тут ввезли паточный пудинг, щедро политый кремом, и мистер Киллик, изголодавшийся после утренней проповеди птицам, дважды просил добавки. После обеда одни вернулись в кровать, а Эндерби-Хрякк и другие пошли на застекленную террасу. У Эндерби-Хрякка не было денег, но какой-то неведомый благотворительный фонд, призванный на выручку больничным казначеем, в достаточном количестве снабжал его сигаретами. Пришла сестра со спичками, чтобы дать прикурить желающим: ни одному пациенту не разрешалось иметь собственные спички с тех пор, как страдающий белой горячкой свидетель Иговы обозвал Флитчли Содомом и поджег его.

После мирного перекура под ленивую бессвязную болтовню Эндерби-Хрякк пошел в уборную. В маленькие кабинки без дверей можно было заглянуть из коридора через стену толстого стекла: даже тут не найти уединения. После обильных и здоровых испражнений Эндерби-Хрякк пошел в палату, которую занимал с еще одиннадцатью пациентами, полежать в ожидании, когда его позовут на полуденный сеанс у доктора Уопеншо. Он закончил романец для мальчиков («И, – усмехнулся полковник Билл, – невзирая на все невзгоды и опасности, это было отменное приключение, в которое я был бы рад пуститься снова»). Но, когда он потянул рычаг и смесь взорвалась, откуда ему было знать, что его ждало приключение еще более захватывающее. Об этом приключении, ребята, мы узнаем в нашей следующей – девяносто седьмой! – истории о полковнике

Билле и верном Спайке»). Без излишнего возбуждения Эндерби-Хрякк предвкушал, как ее прочтет.

В три часа улыбающаяся медсестра вызывала его к доктору Уопеншо.

– А, привет, старина. Дела идут на лад, да? Отличненько, отличненько, – сказал доктор Уопеншо, в точности как полковник Билл или его создатель.

Доктор Уопеншо был крупным мужчиной, у которого излишек жира возвещал, подобно медалям, о былых победах в матчах по регби. У него были большие ноги и усы, а голос – как рождественский пудинг. Но он был умным и оригинальным психиатром.

– Садитесь, – пригласил он. – Закуривайте, если хотите.

Эндерби-Хрякк сел, застенчиво улыбаясь. Он преклонялся перед доктором Уопеншо.

– Эндерби-Хрякк, Эндерби-Хрякк, – повторил доктор Уопеншо, точно начало детской считалки. На столе перед ним лежала открытая толстая папка. – Эндерби-Хрякк. Без привычки и не выговоришь, а? Думаю, уже можно отбросить Эндерби, как по-вашему? Конечно, если хотите, сохраните на заднем плане как возможное дополнение. Как вам нравится Хрякк?

– Очень даже, – ответил Хрякк. – В полном порядке.

– С чем у вас ассоциируется эта фамилия? Со свиньями? С грязью? – сказано с улыбкой. – С обжорством? – Доктор Уопеншо в шутку хрюкнул по-свинячьи.

– Конечно, нет, – Хрякк тоже улыбнулся. – Розы. Летняя лужайка. Нежно пахнущая женщина за пианино. Серебристый голос. Сигаретный дымок.

– Отличненько, – сказал доктор Уопеншо. – Очень даже замечательно. – Откинувшись на спинку вращающегося кресла, он по-мальчишески покрутился на нем из стороны в сторону, доброжелательно глядя на Хрякка. – И борода прекрасно отрастает, – сказал он. – Через пару недель будет очень даже недурная. Ах да, я сделал пометку насчет очков. В четверг пошлем вас к окулисту.

– Большое спасибо, – поблагодарил Хрякк.

– Не благодарите меня, дружище. В конце концов, для того мы и существуем, да? Чтобы помогать.

На глаза Хрякку навернулись слезы.

– Так вот, – продолжал доктор Уопеншо. – Я уже вам объяснил, что мы тут стараемся сделать и почему. Сможете, – он улыбнулся, – рассказать вкратце своими словами?

– Эндерби, – объяснил Хрякк, – было именем из затянувшегося отрочества. Налицо были хорошо развитые характерные признаки и симптомы подросткового периода, который, как казалось, будет тянуться вечно. Например, одержимость поэзией. Или мастурбация, пристрастие запирается в уборной, бунт против религии и общества.

– Отличненько, – сказал доктор Уопеншо.

– Поэзия была цветом этого отрочества, – продолжал Хрякк. – Кое-какие стихи недурны, но они были продуктом этого подросткового периода. Я буду с гордостью вспоминать о достижениях Эндерби. Однако жизнь необходимо прожить.

– Конечно, необходимо, – согласился доктор Уопеншо, – и вы ее проживете. Более того, вам понравится жить. Теперь давайте расскажу, что с вами будет дальше. Через месяц, возможно, меньше, если прогресс и дальше будет налицо, мы пошлем вас на нашу сельскохозяйственную станцию в Снорторпе. На самом деле это дом отдыха, знаете ли, где вы будете делать чуток посильной работы – не слишком много, разумеется, только то, что вы сочтете себе по силам, – и вести очень приятную простую жизнь среди людей в красивой обстановке. Снорторп – маленький городок на реке. Летние отдыхающие, лебеди, катанья на лодке, симпатичные маленькие пабы. Вам там понравится. Вашей группе – разумеется, под надзором, если можно называть это надзором, – позволят ходить в пабы, на танцы и в кино. Раз в неделю, – улыбнулся доктор Уопеншо, – я сам буду приезжать и устраивать импровизированные концерты, люблю быть запевалой в хоре. Вам такое понравится, правда?

– О да! – выдохнул Хрякк.

– Так вы постепенно приспособитесь к жизни в обществе. Вы даже с женщинами будете знакомиться, знаете ли. – Он улыбнулся. – Предвкушаю, что однажды вы взаправду испытаете радости брака. Эндерби свой совершенно загубил, верно? Но теперь это позади. Оформление развода, как мне сказали, проходит вполне гладко.

– Я даже имени ее вспомнить не могу, – нахмурился Хрякк.

– Об этом не тревожьтесь. Это ведь не ваша история, а Эндерби, верно? Вспомните, когда придет время. И более того, будете вспоминать со смехом.

Хрякк на пробу улыбнулся, словно в предвкушении.

– Что касается вашего будущего вообще, об этом вам сейчас лучше не думать. По-настоящему приятную работу мы вам без труда подыщем, у нас есть собственный отдел по трудоустройству, и там работают очень знающие люди. Пока же ваша задача – быть новым человеком, которого мы

стараясь создать. В конце концов, это же так занятно, правда? Нарадоваться происходящему не могу и хочу, чтобы вы со мной порадовались. В конце концов, мы ведь очень близко к цели за последние пару недель подошли, а? – Он улыбнулся. – Мы вместе отправились в настоящее приключение, и я наслаждаюсь каждой минутой.

– И я тоже, – с жаром подхватил Хрякк. – И я страшно благодарен.

– И с вашей стороны, правда, страшно мило так говорить, – сказал доктор Уопеншо. – Но вы сами страшно постарались, знаете ли. – Он опять улыбнулся, а потом сделался грубовато деловитым. – Увидимся, – он заглянул в ежедневник, – в пятницу утром. Валите теперь пить чай или что там еще и оставьте меня наедине со следующей жертвой. – Он шутливо вздохнул. – Работа, работа, работа. – Он покачал головой. – Нет ей конца. Теперь бегите.

Он усмехнулся. Хрякк усмехнулся в ответ и убежал.

К чаю были сэндвичи с белковой пастой «Мармит», сэндвичи с рыбной пастой (мистер Шэп выкрикнул «ПАСТА!» так к месту, что всем пришлось рассмеяться), фасонные пирожные и по маленькому сливовому пирогу на каждый стол. После чая Хрякк гулял по саду, где наткнулся на мистера Киллика, нашептывающего десятку обжиравшихся хлебом скворцов за изгородью:

– Ну же, птички, будьте паиньками и добрыми друг к другу и возлюбите Господа, который сотворил всех вас. Он был птицей, в точности, как вы.

Хрякк вернулся на солнечную террасу, где застал мистера Барнаби, победно заканчивающего еще одну строфу своей «Оды главврачу». Он прочел ее с большим чувством, сперва сердечно пожав руку Хрякку:

Я тебя видел недавно в поле —  
Ты шел и лупил по траве своей тростью,  
Но трава твоей неподвластна воле,  
А знаешь, чем ты закончишь, от злости?  
Вон та статуэтка свалится как-нибудь с полки —  
И разобьет твою гнусную личность в осколки.

На обед были рыба и рисовый пудинг с изюмом. Мистер Бичем, руки которого были киноварно-красными от дневных трудов над большим символическим полотном, медленно выковырял из своей порции все изюмины и выложил из них простой гештальт на хлебной тарелке. После

обеда смотрели по телевизору любительский боксерский матч, от чего два пациента так возбудились, что медсестре пришлось переключить на другой канал. По другому каналу показывали незатейливую моралитэ о добре и зле, действие которой разворачивалось на Диком Западе в 60-х годах XIX века. Через равные промежутки ее прерывали астеничные женщины, демонстрировавшие стиральные машины, хотя некоторые пациенты не смогли увидеть в них вставки, а принимали за неотъемлемую часть сюжета. Темой была интеграция: построение нового человеческого общества под непоколебимой и яркой звездой шерифа. Хрякк часто кивал, видя во всем этом (завоевание новой территории, смерть нехорошего отшельника) аллегорию собственной переориентации.

### 3

Разгар лета в Снорторпе. Аренда лодок у причала. У моста – отель под названием «Белая лань», очень любимый летними отдыхающими. Охотники выпить довольно щурятся на лунный свет на террасе. Восторженно твякающие собаки, за которыми бегают дети. Утки и лебеди, откормленные, избалованные. Ивы. Старый замок на холме над рекой.

Нестройная колонна не маршем, но явно под надзором возвращалась в городок с загорелых полей сельскохозяйственной станции. Выглядели эти люди такими же загорелыми и подтянутыми, как катающиеся на лодках отпускники, и каждый нес какой-нибудь инструмент, например, мотыгу или вилы. У моста они остановились по веселой команде своего вожака.

– Ладно, – крикнул он. – Пятиминутный отдых. Старый Чарли говорит, ему камешек в сапог попал.

Мистер Пикок был порядочным, дочерна загорелым человеком, честным и справедливым, который с подопечными обращался как с младшими братьями. Старый Чарли присел на парапет, и мистер Пикок помог ему снять пыльный сапог.

– Курнем? – спросил своего напарника Хрякк, которого тут ласково и шутливо прозвали Свинка.

Кивнув в знак благодарности, Боб Каррен взял одну. Достав дешевую цилиндрическую зажигалку, он чиркнул, пламя осталось невидимым в полуденном воздухе, который сам был как пламя. Свинка Хрякк наклонился, прикуривая папиросу.

– Недолго осталось, сам знаешь, – сказал Боб Каррен.

– Недолго, – откликнулся Свинка Хрякк, вглядываясь в длинную,

уходящую вдаль гряды ив. – На следующей неделе, по их прикидкам.

Он смахнул с нижней губы табачную крошку. Губы были обрамлены бурой, подернутой сединой бородой, лицо загорело, на носу – очки в стальной оправе. В нем было что-то от Хемингуэя, но на том связь с литературой кончалась. Говорящий литературным языком мужчина средних лет, явно не привычный к ручному труду, но готовый стараться, уважаемый соседями по палате, соглашающийся помочь в написании писем. Поговаривали, дескать, жаль попусту тратить образованного человека, отправляя, как будто бы собирались, учеником бармена в отель в Миддендс. Но Свинка Хрякк знал, что жалеть не о чем.

Несколько дней назад, после отбоя, он тайком надел наушники. Отвергнув – щелчком пластмассового тумблера на стене – сперва «Легкую», потом «Домашнюю», он переключился на «Третью волну». Молодой человек скучным голосом бубнил о современной поэзии: «... Эндерби до своего необъяснимого исчезновения... завоевал себе место в ряду крепких поэтов второго плана... возможно, мало что сказать нашему поколению... более значительные произведения Джарвиса, Сайма и Казалета...» Слушал он без малейшего интереса. Тебя использовали, тебя выбросили, Эндерби заслужил больше многих... Хрякк предвкушал, как станет барменом. Более того, барменом, который будет отличаться от большинства, таким, который создаст особую атмосферу в пабе, поскольку сможет бросать над пенящимися пинтами стихотворные строчки. За словами и рифмами лежат ощущения. Теперь пришло их время.

– Что старый хрыч тебе сказал? – спросил Боб Каррен.

– Он-то? – без интереса переспросил Свинка Хрякк. – Ну, на мой взгляд, он довольно связно выступал в защиту англиканской церкви. Это какое-то вероисповедание. Многого не требует. Предложил мне кое-какие книги почитать, но я сказал, мол, мало что читаю. Если ему это доставит удовольствие, пойду к ним, крещусь.

– Сам-то я никогда религией не увлекался, – сказал Боб Каррен. – Мой папаша был лудильщиком, а все лудильщики атеисты. Помнится, в былые времена мы отлично развлекались по вечерам в четверг. Ну, знаешь, в желудке свинина и сидр, и кто-нибудь заводил разговор про хлеб насущный... Так спорили, чуть до драки не доходило. И не где-нибудь, а у нас в гостиной, понимаешь, со «Смертью Нельсона» над пианино. – Боб Каррен был очень худым человеком пятидесяти семи лет, продавцом радио, оправляющимся от шизофрении. – Сдается мне, – сказал он, – в те времена у людей было больше веры. Они верили больше. Ба, я, правда, думаю, что мой старик, который был всего лишь невежественным старым



лудильщиком, больше верил в то, что бога нет, чем кое-какие сегодняшние религиозные придурки верят в то, что он есть. Смешной старый мир, – заключил он, как делал всегда.

– Уж точно, – согласился Свинка Хрякк, – но по-своему интересный.

После ланча предстоял крикетный матч между командой Флитчли и местным медпунктом Святого Иоанна. Свинку Хрякка уговорили судить. Его всегда нервировала блокировка мяча ногой, но он решил, если будет сомневаться, то по любому спорному вопросу (помимо очевидного чистого прохода или калитки) станет выкрикивать: «Мяч на поле». Сегодня вечером будет импровизированный концерт, запевать приедет доктор Уопеншо, и из столовой принесут пиво – по две бутылки на брата. Свинка Хрякк возглавлял команду победителей в викторине. Он обыграл Альфреда Брисли в шахматы.

– Подымайтесь, тигры! – окликнул мистер Пикок. – В копыте Чарли камней больше нет. – (Старый Чарли открыл в ухмылке беззубый рот.) – Господь в небесах, и все прекрасно и так далее, и так далее. Веселым шагом 'ар-ш! Дайте-ка подсчитать, сегодня суббота, да? Отварная солонина с пюре, а за ней ревеневый пирог с патокой. Эй, Свинка, старина, подбери слюни! Шагом 'ар-ш!

Свинка Хрякк глянул на крошечные облачка (похожи на ватные пробочки от небесных пузырьков аспирина) и на согретые солнцем лодки на берегу, смотревшиеся тушками цыплят. Лебедь простер архангельское крыло. Вскинув на плечо мотыгу, выплюнув окурок, он зашагал.

---

notes
-------

## Примечания

Перевод Евгения Соколова

Здесь и далее стихи даны в переводе Н. Сидемон-Эристави.

Ян Сибелиус (1865–1957) – финский композитор. – *Здесь и далее примеч. пер.*

Имеется в виду Вальтер Скотт и Редьярд Киплинг.

Ежегодный астрологический журнал, который издается по типу календаря астролога Ф. Мура (1657–1715).

Крупнейший книжный магазин Лондона.



Беззаботный (*фр.*).

Премьер-министр Великобритании в 1930-х гг.

Оговорка – Эндерби случайно называет сэра Джорджа святым Георгием.

Моя вина (*лат.*).

Персонаж романа «Дэвид Копперфилд» Чарлза Диккенса.

Просыпайтесь (*нем.*).

Игра слов с отсылкой на драматическую поэму Роберта Браунинга «Пипа поет».

Мрачная долина (*фр.*).



Представление (нем.).

«Дуинские элегии» Р. М. Рильке.

Девичья фамилия Мэри Шелли.

Название поэмы Перси Биши Шелли.

Или эпиталама – свадебная песнь у греков и римлян.

Вторая профессия (*фр.*).

Универсальный магазин на Пиккадилли, рассчитанный на богатых покупателей.

Марка элитной мягкой мебели.



Сожительству (фр.).

Я тебя люблю (*ит.*).

Цветы для синьоры (*ит.*).

Большое спасибо (*ит.*).

И одну для вас, Данте (*ut.*).

Устрицы (*ut.*).

Много детишек (*ит.*).

Мир, мир (*ит.*).



Чересчур (*um.*).

Понятно (*ит.*).

Я не хочу помогать (*ит.*).

Сергей Абрамович Воронов (1866–1951) – французский хирург русского происхождения. Широкую известность получил за разработанную в 20-х методику омоложения за счет прививки желез обезьяны человеку, которая вскоре была дискредитирована.

Senatus Populusque Quiritium Romanus – Сенат и народ Рима (*лат.*).

Разве это телятина? (*ит.*)

Да, это телятина, синьор (*ит.*).

Не холодное (*ит.*).



Теплое (*ит.*).

Виа дела Консильяционе.

Однако тогда вы говорили чуток как понтифик (*иск. ит.*).

Плечи (*фр.*).

«Шеффилд уэнсдей», «Тоттенхем хотспур», «Кардифф-сити» – английские футбольные клубы.

Все хороши (*ит.*).

«Вест-Бромвич альбион», «Манчестер Юнайтед», «Вулверхэмптон уондерерс» – английские футбольные клубы.

Немцев (*um.*).



«Девушка с Золотого Запада» – вестерн 1939 г.

Очень красивая (*ит.*).

Комнату. Если возможно (*ит.*).

Кроватью (*ит.*).

Я голый, совершенно голый (*ит.*).

Стыдливость (*фр.*).

Большое спасибо (*ит.*).

Распутных флорентиек (*ut.*).



Заголяющие ляжки за деньги (*ит.*).

Развязка (*фр.*).

Слава богу (*лат.*).

Исходником (фр.).

Эрнест Резерфорд (1871–1937) – английский физик, лауреат Нобелевской премии, создавший планетарную модель атома; считается отцом ядерной физики; английские авиаторы пилот Джон Олкок и штурман Артур Браун совершили в 1919 г. первый беспосадочный перелет через Атлантику.

Сеть английских пабов, основанная в 1880-х отцом и сыном Йетсами, к поэту отношения не имеет.

Носоглотка (*лат.*).

Пищевод (*лат.*).